



ЖИВОПИСЕЦ ДУШ

Книги Фальконеса разошлись общим тиражом более
10 миллионов экземпляров в нескольких десятках стран!

ИЛЬДЕФОНСО ФАЛЬКОНЕС



ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

The Big Book

Ильдефонсо Фальконес

Живописец душ

«Азбука-Аттикус»

2019

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

Фальконес И.

Живописец душ / И. Фальконес — «Азбука-Аттикус»,
2019 — (The Big Book)

ISBN 978-5-389-21562-7

Добро пожаловать в Барселону начала XX века – расцвет модернизма, столкновение идеологий, конфликт поколений, бурлят споры, кипит кровь. Молодой художник Далмау Сала, влюбленный в жизнь, в живопись, в женщину, разрывается между подлинным искусством, требующим полной самоотдачи, и необязательными, но удобными поделками для богатых и равнодушных, между наслаждением и долгом, между романтикой и комфортом. Далмау ищет себя и свой истинный путь – и вместе с возлюбленной пройдет страшными тропами посреди восторга и ужаса мира, стоящего на пороге нового века. Ильдефонсо Фальконес, юрист по профессии, историк по призванию, один из крупнейших испанских писателей современности, за свой первый роман «Собор у моря» был удостоен многочисленных престижных премий, в том числе Euskadi de Plata (2006, Испания), Qué Leer (2007, Испания) и премии Джованни Боккаччо (2007, Италия). Книги Фальконеса уже разошлись общим тиражом более 10 миллионов экземпляров в нескольких десятках стран. «Живописец душ» – его гимн родной Барселоне, великолепная сага о людях в потоке исторических событий и летопись человеческих страстей: любви, мести, верности искусству и идеалам в бурные времена, когда меняется абсолютно все, от политики до морали и эстетики, история распаивается гигантским полотном, страсти творят великий город, а город вершит человеческие судьбы на века вперед. Впервые на русском!

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-389-21562-7

© Фальконес И., 2019
© Азбука-Аттикус, 2019

Содержание

Часть первая	7
1	7
2	26
3	45
4	61
5	81
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Ильдефонсо Фальконес

Живописец душ

© А. Ю. Миролюбова, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

Эту книгу я начал в добром здравии, но, вследствие тяжелой болезни, последнюю точку поставил, когда тысяча булавок вонзались в подушечки моих пальцев, пока я стучал по клавиатуре. Хочу посвятить ее всем, кто борется с раком, а также тем, кто помогает нам, не дает падать духом, находится рядом, а порой вынужден терпеть наше отчаяние. Спасибо.

Часть первая

1

Барселона, май 1901 года

Сотни женских и детских голосов звенели в переулках старого центра. «Забастовка!» «Закрывайте двери!» «Останавливайте станки!» «Опускайте шторы!» Пикет составляли женщины, многие несли на руках малышек или крепко держали за руку детишек постарше, хотя те и пытались вырваться, чтобы побежать за совсем уж большими, вышедшими из-под контроля; они обходили улицы старого города, призывая рабочих и торговцев, чьи мастерские, цехи и магазины все еще были открыты, немедленно прекратить всякую деятельность. Палки и куски арматуры у них в руках убеждали большинство, хотя кое-где бились витрины и вспыхивали стычки.

– Это женщины! – крикнул какой-то старик с балкона второго этажа, прямо над головой разъяренного лавочника, который сцепился с двумя пикетчицами.

– Ансельмо, я просто...

Его оправданий никто не слушал, их заглушили оскорбления и свист других жильцов, наблюдавших сцену с балконов ветхих, сгрудившихся домов, где обитали мастеровые и прочий неимущий люд: фасады растрескались, штукатурка облезла, всюду видны были пятна сырости. Лавочник поджал губы, замотал головой и опустил железную штору под торжествующие, насмешливые крики оборванных и грязных ребятишек. Зрители невольно заулыбались, оценив шуточки юных забастовщиков: лавочника не любили в квартале. Он тачал и продавал эспадрильи. Не верил в долг. Не улыбался. Ни с кем не здоровался.

Ребятишки продолжали потешаться над ним, пока полиция, следовавшая за пикетчицами, не подошла совсем близко. Тогда они побежали за громогласной ордой, которая хлынула в переулки средневековой Барселоны, извилистые и темные, ведь даже волшебный весенний свет майского утра не в силах был проникнуть глубже самых верхних этажей в хитросплетение построек, что возвышались над брусчатой мостовой. Жильцы, высыпавшие на балконы, умолкли при виде жандармов; иные ехали верхом, с саблями в ножнах, лица у большинства были хмурые, всадники двигались размеренно, отчего напряжение возрастало. Все понимали, как этим людям непросто: они должны были остановить незаконные пикеты, но не были готовы сражаться с женщинами и детьми.

История рабочего движения в Барселоне неразрывно связана с женщинами и их детьми. Они сами в большинстве случаев уговаривали своих мужчин оставаться в стороне от насильственных актов. «На нас они не посмеют напасть, а нас достаточно, чтобы остановить работу», – твердили женщины в качестве аргумента. Такую тактику применили и сейчас, в мае 1901-го, когда рабочие вышли на улицы после того, как компания по обслуживанию трамваев уволила забастовщиков и наняла вместо них штрейкбрехеров.

До всеобщей забастовки в поддержку трамвайщиков, к которой призывали рабочие союзы, было еще далеко, и, несмотря на отдельные акты насилия, жандармерия вроде бы контролировала город.

Вдруг из сотен женских глоток вырвался единый вопль: пронеслась весть, будто по Ла-Рамбла ходит трамвай. Зазвучали ругательства и угрозы: «Штрейкбрехеры!», «Сучьи дети!», «Покажем им!».

Пикетчицы пустились быстрым шагом, почти бегом, по улице Портаферрисса к цветочным рядам на Ла-Рамбла, чуть выше рынка Бокерия, который, в отличие от других барселонских рынков, таких как Сан-Антони, Борн или Консепсон, не был выстроен по конкретному

проекту, торговцы попросту оккупировали площадь Сан-Жузеп, великолепное, окруженное портиками пространство; в конце концов купцы одержали верх, и площадь покрылась тентами и навесами, а портики, окружавшие площадь, – в стены нового рынка. Обычные места, где торгуют цветами, киоски чугунного литья, расположенные вдоль бульвара друг против друга, были закрыты, но цветочницы, в вызывающих позах, уперев руки в бока, стояли рядом, готовые защищать их. В Барселоне только в этой части Ла-Рамбла продавали цветы. У рынка Бокерия застряла нескончаемая череда крытых подвод: лошади и экипажи терлись друг о друга в паре шагов от трамвайных путей. Истошные крики проходящей мимо толпы женщин растревожили животных. Но мало кто из пикетчиц обращал внимание на взбесившихся, встающих на дыбы коней и на мечущихся очертя голову конюхов и продавцов. Трамвай, следующий к бульвару Грасия от Рамбла-де-Санта-Моника, приближался.

Далмау Сала в толпе других мужчин молча двигался за пикетом по улицам старого города, вслед за жандармами. Теперь, на более широком бульваре Ла-Рамбла, ему открылась полная картина. Абсолютный хаос. Лошади, экипажи и торговцы. Сбежалась толпа ротозеев; полицейские встали в строй перед женщинами с детьми, а те образовали живую цепь, отсекая тех, которые сгрудились на рельсах, норовя остановить машину. Увидев, как женщины поднимают малышей перед жандармами, Далмау содрогнулся. Дети постарше цеплялись за юбки матерей, тараша испуганные глазенки, пытаясь постигнуть непостижимое, а подростки, заразившись общим энтузиазмом, дразнили полицейских.

Не так давно, года четыре или пять тому назад, Далмау точно так же задирали полицию, а его мать позади криками требовала справедливости или улучшения социальных условий и воодушевляла его на борьбу. Так поступало большинство матерей: ставили детей на защиту дела, за которое они сами готовы были отдать жизнь.

На какой-то миг крики женщин опьянили Далмау, вселили в него прежнее воодушевление, когда и он противостоял полицейским. Подростки тогда себя чувствовали богами. Боролсь за рабочее дело! Бывало, что жандармы или солдаты набрасывались на них, но сегодня такого не случится, сказал себе Далмау, переводя взгляд на забастовщиц, преграждавших путь трамваю. Нет. Этот день не назначен для того, чтобы силы правопорядка атаковали женщин; он это предчувствовал, это знал.

Далмау быстро нашел их в толпе. В первом ряду, впереди всех, с пылающими глазами, будто одним только взглядом собираясь остановить трамвай до Грасии, который уже приближался. Далмау разулыбался. Что неподвластно таким взглядам? Монсеррат и Эмма, его младшая сестра и его невеста, подруги, неразлучные в бедах, неразлучные в борьбе за рабочих. Трамвай приближался, звонок дребезжал, лучи солнца, проникая сквозь листву деревьев на Ла-Рамбла, высекали искры из колес и других металлических частей вагона. Кое-кто из женщин отступил, но таких оказалось немного. Далмау выпрямился. Он не боялся: трамвай остановится. Матери и полицейские умолкли, затаив дыхание. Зеваки тоже замерли. Группа женщин на рельсах как будто увеличилась, сплотилась, вросла в почву: будь что будет.

Трамвай остановился.

Женщины разразились торжествующими криками, а немногие пассажиры, которые осмелились воспользоваться транспортом и ехали на втором ярусе, под открытым небом, спотыкаясь, спускались вниз и удирали следом за водителем и кондукторами – те попрыгали с трамвая еще до того, как он остановился.

Далмау глядел на Эмму и Монсеррат: обе поднимали к небу сжатые кулаки, улыбались, вместе со всеми празднуя победу. Не прошло и минуты, как сотни женщин набросились на трамвай. «Сюда!» «Поддадим!» Жандармерия хотела вмешаться, но живая цепь женщин с детьми вышла навстречу. Множество рук оперлось о стенку вагона. Кто не мог подойти к трамваю, налегал на спины впереди стоящих.

– Толкайте! – раздавались крики.

– Сильнее!

Трамвай закачался на железных колесах.

– Еще! Еще, еще...

Раз, два... Вагон раскачивался все сильнее, женщины криками подбадривали друг друга. Наконец вопль, вырвавшийся из сотен глоток, возвестил падение трамвая. Вместе с грохотом полетели щепки, зазвенело железо, поднялась туча пыли, окутав трамвай и женщин.

Относительную тишину, наступившую после того, как трамвай рухнул на землю, прервали истошные крики:

– Ура революции!

– Да здравствует анархия!

– Все на забастовку!

– Смерть монахам!

Покончить с безработицей, увеличить зарплату. Сократить непомерный рабочий день. Запретить детский труд. Покончить с властью Церкви. Обеспечить безопасность. Предоставить приличное жилье. Здравоохранение. Светское образование. Продукты по доступным ценам... Тысячи требований гремели над цветочными рядами на Ла-Рамбла, там собиралась и ширилась толпа неимущих, люди стекались со всех сторон и яростно рукоплескали женщинам из рабочих.

Эмма и Монсеррат, вспотевшие, запачканные, с лицами, потемневшими от пыли, поднявшейся после падения вагона, прыгали от восторга, подбадривали друг друга, махали руками, взобравшись на стенку трамвая.

У Далмау волосы встали дыбом при виде этих юных дев. Какая отвага! Какое бесстрашие! Он вспомнил, сколько раз вместе с матерями и женами рабочих бросались они на защиту правого дела. Далмау был старше на два года, но эти девчонки, как будто женская природа их к тому обязывала, смелостью превосходили его, кричали, ругались, чуть ли не задирали жандармов. А теперь стояли на самом вершине, на торце трамвая, который опрокинули собственными руками. Далмау вздрогнул, поднял руку, сжатую в кулак, и в восторге присоединился к крикам и требованиям толпы.

Крики все еще звучали в ушах Далмау, волнение не покидало его, когда он поднимался по Пасео-де-Грасия к керамической фабрике, где работал в районе Лес-Кортс, на пустыре неподалеку от русла Баргальо. Ему не удалось поговорить с девушками: добившись цели и видя, что жандармы теряют терпение, женщины с детьми, составлявшие пикет, рассеялись в разные стороны. Монсеррат и Эмму наверняка приметили, подумал Далмау. «Еще бы!» – сказал он себе и улыбнулся, топчась упавший с дерева лист. Как не запомнить их, стоящих наверху? Конечно, они быстро смешались с другими женщинами на рынке Бокерия или на Ла-Рамбла, такими же, как они, одетыми одинаково: юбка до щиколоток, передник и блузка с засученными рукавами. Те, что постарше, повязывали на голову платок, чаще всего черный; молодые подкалывали волосы в пучок и не носили шляпок. Эти женщины коренным образом отличались от тех, что прогуливались по Пасео-де-Грасия: богатых, элегантных.

Ежедневно, проходя из конца в конец одну из главных магистралей древней столицы Барселонского графства, Далмау отводил душу, разглядывая дам, которые прогуливались с гордым видом в сопровождении нянек в белом, детишек и конных экипажей. Грудь, живот и ягодицы; говорили, будто по этим трем параметрам следует судить о том, насколько женщина близка к идеалу. Женская мода в эпоху модерна эволюционировала вместе с архитектурой и другими искусствами, и суровые средневековые линии, бывшие в ходу в последнее десятилетие прошлого века, вышли из употребления, теперь целью было показать живых женщин: корсет подчеркивал естественные формы тела, его сказочные изгибы – выступающая грудь, плоский, стянутый живот, заодно и воинственно торчащие ягодицы. Когда было время, Далмау

задерживался на бульваре, садился на скамейку и делал наброски углем, запечатлевая этих женщин; правда, одежда не занимала воображение художника, и он рисовал их нагими. Зачем ограничиваться тем, на что лишь намекают корсеты и платья? Ноги, бедра, щиколотки, главное – щиколотки, тонкие, точеные, с натянутыми струнами сухожилий; руки и плечи. Еще шея! К чему руководствоваться только тремя критериями: грудь, живот и ягодицы? Он любил женскую наготу, но, к сожалению, не имел возможности работать с раздетыми натурщицами: его учитель, дон Мануэль Бельо, это запрещал. Мужская нагота – пожалуйста, женская – нет. Раз он сам не пишет нагих натурщиц, значит и Далмау не должен. Это можно понять, зная супругу дон Мануэля, ухмылялся про себя Далмау. Буржуазка, реакционерка консервативных взглядов, католичка ярая – до мозга костей! Разделяя все эти добродетели со своим супругом, дама цеплялась за моду, устаревшую несколько лет назад, и до сих пор носила кринолин, нечто вроде каркаса, крепящегося на талии, с объемистой накладкой сзади.

– Ни дать ни взять улитка, – насмеялся Далмау, описывая туалет дамы Монсеррат и Эмме, – юбка широченная, на задку что-то вроде панциря, который она всюду за собой таскает. Странно ли, что я не в силах вообразить ее голой?

Девушки рассмеялись.

– Ты никогда не снимал панцирь с улитки? – спросила сестра. – Добавь слизничку шиньон вместо рожек, и вот она, твоя буржуазка, голенькая, вся в слюнях, как все они.

– Замолчи! Какая гадость! – вскричала Эмма, толкая Монсеррат. – Но зачем тебе понадобилось воображать голых женщин? – спросила она Далмау. – Тебе недостаточно тех, которые дома перед тобой?

Последнюю фразу она произнесла вкрадчиво, нежно, растягивая слова. Далмау привлек ее к себе, поцеловал в губы.

– Достаточно, еще как, – шепнул ей на ухо.

В самом деле, если не считать эротических снимков, по которым он изучал женскую наготу, запрещенную учителем, одна только Эмма позировала для него нагой. Монсеррат, узнав об этом, тоже захотела быть моделью.

– Как я буду рисовать голой собственную сестру? – возмутился Далмау.

– Ведь это искусство, разве нет? – настаивала та, начиная уже снимать блузку, чего Далмау не позволил, схватив ее за руку. – Я в восторге от рисунков, которые ты сделал с Эммы! Она там такая... чувственная! Такая женственная! Просто богиня! Никто и не скажет, что она кухарка. Я тоже хочу выглядеть так, а не как обычная работница ситценабивной фабрики.

Видя, что сестра дергает свою цветастую юбку, будто собирается ее скинуть, Далмау на несколько мгновений закрыл глаза.

– Мне бы тоже понравилось, если бы ты меня так нарисовал, – не отставала Монсеррат.

– А маме понравилось бы? – перебил ее Далмау.

Монсеррат скорчила гримасу и отрешенно покачала головой.

– Мне не нужно рисовать тебя голой, тебе и так известно, что ты такая же красавица, как Эмма, – попытался ее утешить Далмау. – В тебя все влюблены! Сходят с ума, падают в ноги.

В тот день, когда на Ла-Рамбла опрокинули трамвай, Далмау и без того опаздывал на работу, ему было не до воображаемой наготы буржуазок, выставлявших себя на Пасео-де-Грасия. Недосуг было и разглядывать здания в стиле модерн, которые строились в Барселоне на Эшампле, или Энсанче, за городскими стенами, там, где веками строительство было запрещено из соображений обороны; только в XIX веке, когда стены снесли, эта зона вошла в план городской застройки. Учитель Бельо не принимал этих зданий в стиле модерн, хотя его фабрика процветала, поставляя керамику на стройки.

– Сынок, – оправдывался он, когда Далмау однажды рискнул намекнуть на такое противоречие, – дело есть дело.

Воистину, модерн, не ограничиваясь женскими нарядами, начиная со Всемирной выставки 1888 года во все привнес важные изменения, и такой крен трудно было принять людям консервативного склада. В последнее десятилетие XIX века женщины, хоть и освободившись от турнюров, которые делали их похожими на улиток, все же носили строгие платья средневекового покроя. В то же самое десятилетие и архитекторы вдохновлялись Средневековьем, пытаясь возродить тогдашнее величие Каталонии. Доменек-и-Монтанер возвращался к использованию местных материалов, таких как старые кирпичи, и таким образом построил кафе-ресторан для той же самой выставки 1888 года, величественный, по-восточному пышный замок с зубцами, причем позволил себе поместить вдоль фриза около пятидесяти керамических щитов из сотни с лишним задуманных; изображения на белых щитах рекламировали продукты, которые подавались в заведении: моряк пьет джин, барышня ест мороженое, кухарка готовит какао...¹

Через несколько лет Пуч-и-Кадафалк взялся за перестройку дома Амалье² на Пасео-де-Грасия в готическом духе, отказавшись от классицистической симметрии и подарив Барселоне первый яркий фасад. Как и Доменек в кафе-ресторане на Всемирной выставке, Пуч стал играть с декоративными элементами и, сообразуясь с увлечением хозяина дома, включил в проект целую толпу гротескных зверей: собаку, коша, лисицу, козу, птичку и ящерику в виде стражей; лягушку, выдувающую стекло; еще одну, поднимающую бокал; пару свиней, лепящих кувшин; осла, читающего книгу, в то время как другой осел наблюдает за ним через очки; льва-фотографа рядом с медведем под зонтиком; двух кроликов, льющих металл, и обезьяну, стучащую по наковальне.

Эти два здания, среди многих других, где уже намечались перемены, прослеживалось иное понятие об архитектуре, предвозвестили, по словам учителя Далмау, дом Кальвет на улице Касп в Барселоне: здесь Гауди начал отходить от историзма, питавшего его творчество в последние десятилетия прошлого века, и замыслил архитектуру, которая привела бы материю в движение. «Камень – в движение!» – восклицал дон Мануэль Бельо, недоуменно поднимая брови.

– Женщины и здания, – разоткровенничался он однажды перед Далмау, – теряют малопомалу класс, манеры, величие; порывают со своей историей и протитутуются: женщины извиваются, как змеи, а здания превращаются в миражи.

Тут он отвернулся, взмахнув руками в отчаянии, словно вселенная распадалась у него на глазах. Далмау не стал говорить, что его привлекают женщины, подобные змеям, и он восхищается архитекторами, которые стремятся к тому, чтобы чугун, камень и даже керамика пришли в движение. Ведь только колдун, волшебник, выдающийся творец способен представить глазам материю, превращенную в поток!

Длинная, нагруженная глиной повозка, которую тащила четверка могучих першеронов с величавыми головами, мускулистыми шеями и крупами, толстыми, поросшими длинной шерстью бабками, неспешно, с тяжелым скрипом проехала мимо, сотрясая землю, и это вывело Далмау из задумчивости. Он поднял взгляд; задок доверху наполненной повозки стоял перед глазами, а над ним вырисовывались две высокие фабричные трубы. «Мануэль Бельо Гарсия. Фабрика изразцов». Надпись из тех же изразцов, синих на белом, венчала ворота; дальше началась обширная промышленная зона, с водоемами и сушильнями, складами, конторами и печами для обжига. Фабрика была средних размеров, она выпускала серийную продукцию, но работала и по особым заказам, производя изразцы по эскизам или замыслам архитекторов либо техников-строителей для жилых домов, а также для многочисленных коммерческих учрежде-

¹ Замок трех драконов (*Castell dels Tres Dragons*) – сегодня в нем расположен Зоологический музей Каталонии. – *Здесь и далее примеч. перев.*

² Дом Амалье (*Casa Amatller*) называется по имени владельца, кондитера Антонио Амалье, который и заказал реконструкцию дома архитектору Пуч-и-Кадафалку.

ний, лавок, аптек, гостиниц, ресторанов и прочих: керамика, элемент по преимуществу декоративный, требовалась часто.

В том и заключалась работа Далмау: рисовать. Создавать собственные композиции, которые потом пойдут в серийное производство и будут включены в каталог фирмы; воплощать задумки, довершать наброски прорабов, строящих частные дома или учреждения, или же копировать образцы, которые великие зодчие стиля модерн приносили им уже доведенными до совершенства.

– Простите, дон Мануэль... – Далмау явился в кабинет учителя, одновременно служивший мастерской и располагавшийся на втором этаже одного из фабричных зданий. – В старом квартале настоящий хаос. Манифестации, полицейские патрули. – Тут он несколько преувеличил. – Мне пришлось задержаться из-за матери и сестры.

– Мы должны заботиться о наших женщинах, сынок. – Дон Мануэль, в строгом черном костюме, сугубо приличном, при галстукке темно-зеленого цвета, завязанном огромным узлом, кивнул ему из-за стола красного дерева, за которым сидел. Бакенбарды, широкие и густые, соединялись с усами, столь же пышными, образуя безупречно выверенную линию растительности над тщательно выбритым подбородком. – Они нуждаются в нас. Ты поступаешь правильно. Анархисты и либералы погубят страну! Надеюсь, жандармерия с ними разобралась. Жесткая рука! Вот чего заслуживает такая неблагодарность! Не беспокойся, сынок. Иди работай.

Рабочий стол Далмау стоял в соседней комнате, дверь в дверь с кабинетом учителя. Он тоже не делил помещение с другими служащими, а располагал собственным пространством, достаточно обширным, где мог сосредоточиться на работе, которая ныне заключалась в зарисовках к серии изразцов на восточные мотивы: цветы лотоса, кувшинки, хризантемы, стебли бамбука, бабочки, стрекозы...

Чтобы научиться рисовать цветы, он прошел несколько курсов в барселонской Льотхе³. Цветы с натуры, цветы силуэтом, цветы затененные; эскизы и, наконец, натюрморты маслом. В списке предметов, изучаемых в Льотхе, куда Далмау поступил в возрасте десяти лет, значились арифметика, геометрия, рисунок геометрический, черчение, орнамент, рисунок с натуры, живопись, но самым важным был рисунок для прикладных искусств и фабричного производства. Для этого и была создана Льотха: чтобы обучить прикладным искусствам рабочих, которые могли бы применить в производстве полученные навыки.

Хотя с середины XIX века чистое искусство получило преимущество над прикладным, последнее, предназначенное для нужд промышленности, не было заброшено, что, без сомнения, касалось и рисования цветов. Растительные элементы составляли основу орнамента в готическом искусстве, и теперь, после нового обращения к Средневековью, в индустрии, которая двигала Каталонию, использовались для рисунков на ткани и одежде; а с приходом в архитектуру модерна попали на изразцы и ступеньки, мозаики, в чугунное литье, маркетри и витражи, а также на гипсовую лепнину, обильно украшавшую здания.

Далмау накинул халат на бежевую блузу, доходящую до колен; эта блуза, штаны из смеси шерсти и льна неопределенно-темного цвета, шапочка и черные ботинки составляли его обычный костюм. Как только он уселся перед кучей набросков, громоздящихся на столе, и отточил карандаши, исчезли голоса, смех, крики – шум фабрики в разгар рабочего дня, временами оглушительный. Отрешившись от всего, Далмау полностью сосредоточился на японских рисунках, стараясь перенять восточную технику, которая в обход реализма искала стилизованной красоты, без тени; далекая от западных образцов, она ценилась на рынке, жадно поглощавшем все непохожее, экзотическое, модерное.

Как он отрешился от всякого шума, так и тишина, воцарившаяся на фабрике, опустевшей, когда ночь упала на Барселону, застала его погруженным в работу. Он съел почти без

³ Школа живописи, архитектуры и прикладных искусств в Барселоне.

аппетита, чуть ли не с досадой, обед, который ему принесли, а позже что-то бормотал в ответ сотрудникам, которые заглядывали к нему в мастерскую, чтобы попрощаться. Для дона Мануэля, ушедшего в числе последних, не было сделано исключения; прищелкнув языком, то ли с удовлетворением, то ли с укором, он повернулся спиной к Далмау, который и не расслышал его слов, и не поднял глаз от рисунков.

Через пару часов газовые лампы, освещавшие мастерскую, начали меркнуть и оставили его почти в тьме.

– Кто погасил свет? – возмутился Далмау. – Кто здесь?

– Это я, Пако, – отозвался ночной сторож и отвернул газовый кран, чтобы в мастерской стало светлее.

При свете показался сгорбленный, дряхлый старик. Человек чудесный, но быть ему здесь не следовало. Учитель запретил доступ в мастерские, где находились эскизы и проекты, незаконченные работы: эти материалы могли видеть только сотрудники, пользующиеся неограниченным доверием.

– Что ты тут делаешь? – удивился Далмау.

– Дон Мануэль велел, если ты слишком задержишься, выставить тебя вон. – Старик улыбнулся беззубым ртом, обнажив голые десны. – В городе сложная обстановка, народ в сильном волнении, – объяснил он, – и твоя мать, наверное, беспокоится.

Возможно, Пако прав. Так или иначе, стоило Далмау отвлечься, как желудок запротестовал, требуя пищи, да и глаза устали: похоже, пора кончать работу.

– Гаси свет, – распорядился Далмау, снимая халат и бросая его на вешалку, стоящую в углу, там он и повис кое-как, на одном рукаве. – Что происходит в городе? – поинтересовался юноша, прибираясь на столе.

– Обстановка обострилась. Пикетчики, в основном женщины и подростки, прошли по старому городу, забрасывая камнями фабрики и мастерские, пока те не прекратили работу. Вроде бы утром они опрокинули трамвай, и это им придало отваги. – (Далмау резко выдохнул.) – Что-то подобное устроили и на больших фабриках в районе Сан-Марти. Напали на полицейские участки. Ребята воспользовались суматохой и подожгли несколько пунктов по сбору пошлин, предварительно пошарив внутри. В общем, все вверх дном.

Они спустились по лестнице на склады первого этажа. Там, перед тем как выйти на окружающую постройки обширную зону, где готовили глину, Далмау попрощался с двумя мальчишками, не старше десяти лет, которые жили и ночевали на фабрике, подстелив одеяло на пол, – зимой подле печей для обжига, от которых удалялись по мере того, как на дворе теплело. Их даже не приняли в ученики, просто давали разные поручения – сделать уборку, сбежать куда-нибудь, принести воды... У обоих, по их словам, были родители: рабочие из квартала Сан-Марти, прозванного каталонским Манчестером, и жили они в битком набитых квартирах, которые делили с другими семьями. Квартал Сан-Марти располагался далеко, и учитель ничего не имел против того, чтобы дети жили на фабрике и зарабатывали по несколько сентимо, только взамен требовал, чтобы по воскресеньям они ходили к мессе в приход Санта-Мария-деи-Ремеи в квартале Лес-Кортс. Родителей, похоже, не заботило, что мальчишки живут на фабрике, никто ни разу не пришел поинтересоваться, как они тут. Есть такие, кому гораздо хуже, думал Далмау, по пути к двери мимоходом взъерошив грязные волосы одного из ребят: целая армия *trinxeraires*⁴, как их называли, по скромным подсчетам, больше десяти тысяч, прозябали на улицах Барселоны, прося милостыню, воруя и ночуя под открытым небом, в любой щели, где могли устроиться; то были сироты или просто заброшенные дети, как эти двое мальчишек на побегушках, чьи родители были не в состоянии обихаживать их и кормить.

⁴ Беспризорники (каталан.).

– Доброй ночи, маэстро, – попрощался с Далмау один из них. Ни малейшей насмешки нельзя было обнаружить в его тоне, он говорил совершенно искренне.

Далмау обернулся, поджал губы, порылся в карманах штанов и бросил им монетки по два сентимо.

– Щедрая душа! – На этот раз насмешка прозвучала.

– Не нашел по одному сентимо? – спросил другой мальчишка. – Знаешь, таких... совсем маленьких.

– Неблагодарные! – рявкнул сторож.

– Оставь их, – попросил Далмау с улыбкой. – Осторожней с деньгами, – включился он в шутку, – смотрите, как бы вы не объелись.

– Гляди-ка! – подпрыгнул один из них. – Маэстро хочет поужинать с нами.

– Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. Сегодня пригласите девушек, – со смехом посоветовал Далмау, направляясь к выходу.

– Целый бараний бок оприходуем на эти четыре сентимо! – услышал Далмау у себя за спиной.

– Попьем доброго винца из Алельи!

– Вот наглецы, – продолжал ворчать сторож.

– Вовсе нет, Пако, – возразил Далмау. – Что остается заброшенным детям, как не смотреть на жизнь с насмешкой?

Сторож умолк, а Далмау миновал ворота с надписью, возвещавшей о том, что здесь находится фабрика изразцов дона Мануэля Бельо, и начал потихоньку привыкать к яркому свету луны, озарявшей пустыри и улицы, до которых не добралось еще городское освещение. Вобрал в себя ночную свежесть. Тишина казалась напряженной, будто крики забастовщиков, целый день ходивших по городу, все еще витали в воздухе. Далмау разглядывал панораму, раскинувшуюся вплоть до самого моря. Силуэты сотен высоких труб вырисовывались в лунном свете. Барселона была индустриальным городом, где теснились фабрики, склады и мастерские разного рода. С XIX века здесь использовали энергию пара для работ, которые в других местах выполнялись вручную, и это, а также влияние соседних стран, в частности Франции, вкупе с врожденным у каталонцев духом предпринимательства, поставило их столицу вровень с самыми передовыми городами Европы. Главной была текстильная промышленность; половина рабочих Барселоны были текстильщиками. Не менее важное место занимали также металлургическая, химическая и пищевая индустрии. А еще деревообрабатывающая, кожевенная и обувная, производство бумаги и печатное дело – десятки фабрик в городе, где население достигло полумиллиона человек. Но если богатые промышленники и буржуа пожинали плоды индустриального подъема и пользовались ситуацией, к простому народу, к трудящимся реальность поворачивалась совсем другой стороной. Работа по семь дней в неделю, по десять-двенадцать часов, за мизерную плату. Она, эта заработная плата, за последние тридцать лет увеличилась на тридцать процентов, в то время как цены на продукты поднялись на семьдесят. Неуклонно росла безработица; городские приюты бывали ночами переполнены, и на благотворительных кухнях каждый день раздавали тысячи порций еды. Барселона, думал Далмау, качая головой, бесчеловечно жестока к тем, кто создает ей величие ценой жизни и здоровья – своих собственных, семьи и детей.

Монсеррат дома не было. Эммы тоже. Наверняка празднуют успех выступления, подумал Далмау; устроили собрание, обсуждают, что им предпринять на следующий день, улыбаются, поздравляют друг друга. Далмау заколебался – не пойти ли в столовую возле рынка Сан-Антони, но решил, что, даже если весь персонал не бастует, Эмма наверняка не вышла на работу.

Далмау жил с матерью на третьем этаже старого дома по улице Бертрельянс; этот узкий проулок в историческом центре Барселоны соединял улицу Кануда с улицей Святой Анны, куда выходила одноименная церковь, которую в тот момент перестраивали. Жилище семьи Сала было похоже на все те, что теснились в старом квартале, в Сантс, Грасия, Сан-Марти... Пятишестиэтажные дома, сырые и мрачные, с узкими лестницами, ведущими на верхние этажи; ни канализации, ни газа, ни электричества; вода подавалась из бака, расположенного на кровле, общего для всех жильцов. На каждую площадку, где находилось общее отхожее место, выходили двери квартир, совершенно одинаковых: темный коридор вел в кухню-столовую, воздух в которую нередко поступал из двора-колодца, дальше следовала комната без окон и, наконец, последняя, с окном на улицу.

В этой, наиболее светлой, Далмау нашел свою мать; она, как всегда, шила, сейчас – при свете жалкой свечи, которая лишь сгущала темноту, вместо того чтобы давать хоть немного света швее, жмушей неустанно, безостановочно на педаль швейной машинки, приобретенной в магазине сеньора Эскудера на улице Авиньон. Мать, должно быть, работала целый день, возможно, больше тринадцати часов.

– Как вы, мама? – спросил Далмау, целуя ее в лоб.

– Как видишь, сынок, – ответила та.

Далмау помедлил, потом подошел сзади и положил ей руки на плечи. Ощутил дрожь от швейной машинки: руки и плечи матери вибрировали в ритме шитья. Не отводя глаз от работы, мать сжала губы в подобии улыбки, но ничего не сказала, просто продолжала работать, нажимая на педаль и прострачивая ткань. В тот день она шила белые накладные воротнички и манжеты к мужским сорочкам; такую работу ей предложил комиссионер из универмага, где эти изделия будут продаваться. Накладные воротнички и манжеты оплачивались хуже всего: после нескончаемого рабочего дня швея получала около песеты. Буханка хлеба стоила пятьдесят сентимо. Комиссионер обещал ей партию брюк, даже перчаток, но в тот день у него были только воротнички и манжеты для белых рубашек богачей. Хосефа – так звали мать Далмау – не особо надеялась, что мужик сдержит слово. Возможно, если бы она позволяла себя тискать и щупать, дело бы пошло на лад. «Нет, – одергивала она себя, – ни за что». Некоторые вставали перед ним на колени и теребили ему член или наклонялись, задрвав юбку и передник выше пояса, позволяя делать с собой что угодно. И были они моложе Хосефы и куда красивее! Она их всех знала, иногда даже слышала, как они спорят шепотом, позабыв всякий стыд, на кого нынче падет жребий. Пасть он мог только на одну: мужик был не ахти в плане секса, проливался мгновенно и насыщался еще быстрее. Хосефа их не судила. Не злилась на них. Им нужно было кормить детей.

Женщина вздохнула. Далмау это заметил и бережно обнял за плечи. Хосефа могла рассчитывать на помощь сына. Большинство швей, да и не швей тоже, глядели на нее с завистью и часто шушукались за ее спиной. Хосефа это замечала, и это ей не нравилось: чем она отличается от других – бедная вдова рабочего-анархиста, несправедливо осужденного, подвергнутого пыткам, от последствий которых он и умер в изгнании, как ей сообщили; у нее самой с каждым днем слабело зрение, да и бронхит, от которого страдали швеи, часами сидевшие неподвижно за машинками, полуголодные, измотанные, дышащие смрадом, поднимавшимся из подвалов, донимал ее; сырость пронизывала до костей – и все ради того, чтобы снабдить богачей белыми манжетами и воротничками. Зато Далмау завоевал престиж и получал хорошее жалованье, работая на «того, с изразцами, который ссыт святой водой», как о нем говорили все женщины в доме, включая Эмму. «Оставьте работу, мама», – вечно твердил он. Но Хосефа не хотела жить за счет сына. Далмау женится, пойдут расходы. Он помогал, да, и немало, так что ей не нужно было потакать похоти комиссионера, распределявшего заказы. Помогал и сестре, даже старшему брату Томасу, анархисту, как их покойный отец, такому же идеалисту, либертарию, утописту; а по сути, Томас – такое же пушечное мясо, как и его родитель.

– А девочка где? – спросил Далмау с нежностью, имея в виду Монсеррат; еще раз стиснул плечи матери и уселся рядом со швейной машинкой на постели, общей для Хосефы и ее дочери.

– Поди знай! Думаю, планируют на завтра манифестации. Заходила, рассказала, как они опрокинули трамвай. – (Тут Далмау кивнул.) – В мои времена трамвай везла упряжка лошадей. Попробуй опрокинь такой, – развеселилась она.

– А Эмму видели?

– Да, – выпалила мать с таким напором, что Далмау удивился. Она, заметив, сбавила тон. – Заходила с твоей сестрой. Принесла еду в горшочке. Твое любимое блюдо, – подмигнула она. – Потом пошли бороться дальше.

*Bacallá a la llauna*⁵. В самом деле, это блюдо было из тех, что больше всего нравились Далмау, и Эмма умела его готовить: треска вымоченная, но не слишком, так, чтобы чувствовался привкус моря, обвалянная в муке и поджаренная. Потом ее кладут в *llauna*, противень с высокими бортиками, где уже обжариваются до золотой корочки дольки чеснока, потом добавляют красный перец и вино, чтобы блюдо не подгорело и не стало горчить. Все это запекается вместе несколько минут... Хосефа подогрела еду на углях очага, встроенного в стену, и отнесла на кухню, добавив хлеб и бутылку красного вина.

Даже когда они отдали должное треске и на улицах зазвучали голоса людей, покинувших свои убогие жилища, чтобы поболтать на свежем воздухе, прогуляться, выкурить сигаретку или выпить с другом винца, Далмау так и не смог оторвать маму от машинки.

– Осталось еще много работы, – сказала она виновато.

«Когда же она кончается?» – чуть было не ответил он, но не хотелось заново вступать в тот же самый нескончаемый спор. «Вам это ни к чему». «Я дам денег». «Вы ни в чем не будете нуждаться...»

– Мы даже могли бы сменить квартиру, – однажды предложил он.

– Я жила здесь с твоим отцом и здесь умру, – отрезала мать неслыханно суровым тоном. – Может быть, для тебя, для твоих брата и сестры наш дом... трущоба, – добавила она хрипло, – но эти стены слышали смех и плач твоего отца, да и ваши, конечно, тоже. Далмау, никакая сырость, никакой запах, никакая темнота не сотрут из моей памяти счастье, которое я испытала здесь с ним, с тобой, с твоими братом и сестрой. Как мы старались поставить на ноги вас троих, тех из пятерых моих деток, кому посчастливилось выжить; как боролись за рабочих, за обездоленных, за справедливость. Сколько несчастий, сколько огорчений, множество, великое множество. Все это ковалось здесь, сынок, в этом склепе. Стук педалей и стрекот швейной машинки, которые порой так тебя раздражают... – Мать замахала руками. – Не скажу, что это музыка, но звуки эти сроднились со мной, они меня переносят в те счастливые дни, когда вы были детьми и отец ваш был с нами. Шитье у меня уже выходит само собой! – Она то ли рассмеялась гортанно, то ли закашлялась. – Руки знают, что делают, лучше, чем глаза, устающие после тяжелого дня. – Она вздохнула. – И пока руки работают, стрекот швейной машинки мне напоминает о прошлом, о твоём отце...

Далмау не заметил, в какой момент слова застряли у матери в горле и слезы потекли по щекам. Этим вечером он наконец увидел, какая она хрупкая, беззащитная: встав рядом с матерью, он прижал ее голову к своей груди и баюкал, как маленькую девочку. Позже, оставшись один в своей спальне, комнатушке без окон, он со всем пылом чувства попытался при свете свечи изобразить лицо матери. Один за другим комкал и рвал наброски. Не такая она старая, чтобы жить одними воспоминаниями! Но как ни налегал он на уголь, добавляя улыбку, оживляя взгляд, впечатление оставалось прежним: женщина, исполненная печали.

⁵ Запеченная треска, каталонское блюдо.

Наутро Далмау нашел на кухонном столе остатки трески, которые мать приберегла ему на завтрак. Еще не рассвело, но на улицах ночная тишина уже давала трещину. Далмау ополоснулся в тазу и, прежде чем полакомиться треской, приоткрыл дверь в другую спальню, где сестра и мать еще спали среди спутанных простыней.

На улице было свежо. Небо светлело над верхними этажами, оттуда просачивались солнечные лучи, как будто там, наверху, существовал чистый, здоровый мир, чуждый крикам, полумгле, сырости, грязи и вони, которые терзали обитателей древнего центра Барселоны. Не то чтобы люди проклинали свой квартал; наоборот, большинство, как и его мать, любили место, где родились, играли в детстве или работали в зрелые годы. Нет, жители ни при чем. Врачи, посланные городской управой, утверждали в отчетах, что почва в Барселоне насквозь гнилая. Власти уверяли, что глинистая почва удерживает влагу, отсюда постоянная сырость; что в эти слои просачиваются и там застаиваются сточные воды, органические продукты в стадии разложения и фекальные массы; что канализация в удручающем состоянии, с пробоинами и протечками на всем протяжении; что уборка улиц и вывоз мусора – чистая фикция; что отсутствуют запасы воды, а та, которую барселонцы берут из колодцев, – грязная и полна микробов. Тиф и другие инфекционные болезни стали уже эндемичными, смертность из-за них держалась на высоком уровне.

«А мама не хочет уезжать отсюда!» – посетовал Далмау, выходя на площадь Каталонии, сразу за церковь Святой Анны. То был огромный, заброшенный пустырь, где с самой Всемирной выставки 1888 года собирались обустроить площадь; ее, несуществующую, все уже называли площадью Каталонии. Обходя топкие лужи и кучи мусора, копившиеся тут, Далмау вышел к дому Понс, великолепному шестиэтажному зданию, неоготическому, внушительному, с двумя коническими башенками по углам; его построили в последнее десятилетие прошлого века, когда стали бурно развиваться прикладные искусства: витражи, литье, резьба по дереву и та же керамика, выпускаемая учителем Далмау.

Это здание архитектора Саньера, воздвигнутое в начале первого квартала Пасео-де-Грасия, не только знаменовало собой приход стиля модерн в Барселону, но и обозначало такую наглядную, такую поразительную границу между двумя мирами, что Далмау всегда останавливался на мгновение рядом с этим домом, и, глубоко дыша, глядел то вниз, туда, откуда он пришел и где пребывали его мать и сестра, которые, наверное, уже встали; то вверх, где простирался широкий бульвар, по которому ему предстояло пройти, чтобы добраться до фабрики.

Туда попадало солнце. Там солнце светило. Достигало земли, сверкало на булыжниках мостовой! И запах был не такой отвратительный. На самом деле и богачам не удавалось решить проблемы с канализацией, так что черная жидкость в отстойниках все-таки пахла, однако бриз уносил миазмы, и определенно в сторону старого центра, опасался Далмау. В столь ранний час на бульваре не было молодых буржуазок, выставивших себя напоказ. Вместо них булочники разносили хлеб по домам, подходили к дверям водоносы; служанки, в большинстве своем красивее и свежее, чем их хозяйки, спешили за покупками с корзинками на сгибе локтя; рабочие, чаще всего каменщики, шли кто куда; посыльные из магазинов, мальчишки и девчонки, спешили доставить заказы, и целые полчища нищих и убогих выстраивались в очередь перед задней дверью какого-нибудь богатого дома, ибо там был день раздачи милостыни.

– Военное положение! – Крики сорванца, продававшего газеты, вывели Далмау из задумчивости. – Военное положение в Барселоне! – вопил парнишка во всю силу легких.

Далмау подошел к нему.

– Дай мне номер, – попросил он, как и многие другие, то и дело подбегавшие к продавцу газет.

Сорванец, нагруженный газетами, раздавал их, собирал деньги и при этом не переставал кричать, чтобы привлечь побольше покупателей.

– Гражданский губернатор передал власть военным!

Далмау стал жадно читать. Все верно! Продавец выкрикивал дальше:

– Не в силах совладать с рабочими волнениями, гражданский губернатор передал всю полноту власти в городе в руки военных! Генерал-капитан объявляет чрезвычайное положение! Действие гарантий и гражданских прав приостанавливается!

Далмау вышел из толпы, жаждавшей прочесть первый утренний выпуск газеты, и вот, словно подкрепляя непрекращающиеся вопли мальчишки, вверх по Пасео-де-Грасия двинулся трамвай в сопровождении отряда кавалеристов с саблями наголо.

В течение дня кое-где еще происходили отдельные стычки, но, когда из других городов Каталонии прибыло подкрепление, забастовка захлебнулась, боевой дух упал и все вернулись к нормальной жизни, хотя военное положение никто не отменил.

На фабрике Далмау погрузился в работу над рисунками для изразцов по японским мотивам. Настал час обеда, и после того, как Далмау в очередной раз не откликнулся на зов, учитель велел одному из подмастерьев встряхнуть его хорошенько и сказать, что его ждут во дворе, в экипаже: дон Мануэль приглашает ученика обедать к себе домой. Учитель часто так делал. Он жил на Пасео-де-Грасия, как уважающий себя богатый промышленник, в огромной квартире с высоченными потолками, неподалеку от улицы Валенсия. Далмау мог бы дойти туда пешком, но учитель предпочитал ехать в экипаже, куда поднимался и откуда выходил с таким видом, будто собирается подняться по лестнице Королевского дворца в Мадриде, а внутри располагался так, словно сидел в лучшем из ресторанов. Он постучал в потолок экипажа серебряным набалдашником трости, и кучер отпустил поводья.

Они еще не выехали со двора, как дон Мануэль воздел руку и в очередной раз указал Далмау на его костюм.

Далмау в очередной раз пожал плечами.

– Я хорошо плачу тебе, даже очень хорошо, – продолжал давить хозяин. – Ты мог бы одеваться соответственно.

– Простите, дон Мануэль, но я всегда так ходил. Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, что я из простой семьи. Не вижу себя барчуком.

– Не о том речь. Хорошие брюки, рубашка и пиджак, приличная шляпа вместо этой... – дон Мануэль ткнул пальцем в шапочку, которую Далмау мял в руках, – этой шапки босяка, и, к примеру, моя обожаемая супруга тебя допустит к столу.

Далмау выдвинул те же доводы, что и каждый раз, когда учитель указывал на его бедную одежду и на возможность обедать с его супругой и двумя дочерьми – маленького сына все еще кормила нянька, – а время от времени также и с преподобным Жазинтом, монахом-пиаристом⁶, преподающим в Благочестивой школе Святого Антония; сидеть за огромным столом красного дерева в столовой, где прислуга разносит блюда, серебряные приборы и льняные салфетки лежат по сторонам великолепных, ярких фарфоровых тарелок, а рядом стоят тонкие, резные хрустальные бокалы, которые, опасался Далмау, треснут и расколются от одного только неосторожного взгляда.

– Дон Мануэль, вы же знаете, что я не смогу соответствовать вашим ожиданиям, тем более требованиям доньи Селии. Не хотелось бы доставлять вам неприятности. Я не так воспитан, – в очередной раз повторил он.

– Ну да, ну да... – согласился учитель. – Но твоя одежда... – не отставал он, снова показывая пальцем. – Ладно, для мастерской она подходит. Но ты – второй рисовальщик на фабрике! Первый после меня. Ты должен показывать пример.

Еще один постоянный припев доня Мануэля. Далмау пристегнуть воротничок? Может, тот самый, какой сшила его мать при мутном свете, сочащемся сквозь окно их квартиры на

⁶ *Пиаристы* – католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием детей и молодежи; другое название – пиары. Название произошло от *Scholae piae* («Благочестивые школы»).

улице Бертрельянс. Нет. Никогда не наденет он эти воротнички и манжеты, рубашки, пиджаки и брюки, на которые его мать потратила жизнь! Далмау с грустью вспоминал детские годы, прошедшие под стук педали швейной машинки. От назойливого ритма, который достигал каждого уголка в их крохотном жилище, он иногда просыпался в испуге.

– Мне в такой одежде неловко, дон Мануэль, – отвечал он вежливо, но твердо. – Так я не могу сосредоточиться на работе. Мне жаль.

Не дожидаясь ответной реплики, Далмау отвернулся к окну и стал рассматривать город. В эти часы в Эшампле, богатых кварталах, где они проезжали, благодаря чрезвычайному положению, объявленному генерал-капитаном, царил полный покой. Далмау приметил солдат, которые лениво грелись на весеннем солнышке и пялились на проходящих женщин, вместо того чтобы подавлять забастовку и несуществующие волнения. Он подумал об Эмме и Монсеррат: девушки, должно быть, вернулись к работе – одна в столовую, другая на фабрику. Обе, как и большинство рабочих, сказал себе Далмау, и негодуют, и унывают из-за вмешательства военных. Вечером он встретится с ними, улыбнулся Далмау, и тут умолкли понуканья кучера и цоканье копыт: пара лошадей замерла перед многоквартирным домом на Пасео-де-Грасия, где жил учитель со своим семейством. Далмау настоял на том, чтобы дон Мануэль вылез из экипажа первым, иначе пришлось бы помогать учителю, а тот, без всякой нужды опираясь о его руку или повышая голос, прилюдно подчеркивал бы его подчиненное положение, обращаясь с ним как с прислугой, раз уж он не желает сменить костюм. Ибо чуть позже, в просторном буржуазном доме, с высокими, отделанными плиткой потолками, полным мебели, картин, скульптур и прочих вещей, полезных или бесполезных, дон Мануэль будет по-другому обходиться с Далмау.

Расположение, какое оказывал учитель Далмау, не разделяла донья Селия, его супруга, и никогда не скрывала своего презрения к скромному, к тому же и бунтарскому, происхождению юноши. Для этой женщины ничего не значил талант к живописи, проявившийся у сына анархиста, приговоренного за террор. «Наверняка найдутся тысячи мальчиков, столь же одаренных, как этот, пусть даже из бедных семей, – проповедовала она перед доном Мануэлем. – Я ничего не имею против рабочих, если они правоверные католики, а не безбожники, как этот парень». То, что его супруга встречала Далмау с кислой миной, ничуть не заботило дону Мануэля, поскольку приглашения на обед преследовали одну-единственную цель: узнать мнение юноши о работе, которой учитель занимался не на фабрике, а в мастерской, устроенной в одной из комнат квартиры. Он писал картины. К керамике это не имело ни малейшего отношения. Обычно пейзажи, хотя иногда отваживался на сюжет из священной истории или даже на портрет. Дон Мануэль был выдающимся живописцем, признанным не только в Каталонии, но и во всей стране. Кроме того, он занимался культурной и общественной деятельностью, и эти свои многообразные занятия сочетал с преподаванием в Льотхе. Там он распознал, затем уверившись в своей правоте, блестящие способности юного Далмау, которого только что не усыновил. Даже помогал деньгами, когда отец его умер в изгнании после суда в Монжуике, пародии на правосудие: власти воспользовались взрывом бомбы в 1896 году во время процессии на празднике Тела и Крови Христовых у церкви Санта-Мария дель Мар, чтобы истребить анархистское движение. То, что отец Далмау был революционером-анархистом, не волновало дону Мануэля, наоборот: он усматривал возможность, приложив усилия, привлечь сына неистового либертария и террориста к истинной вере и христианской доктрине.

Еще до того, как Далмау кончил курс в Льотхе, дон Мануэль нанял его на фабрику учеником. Цель – узнать все, что только возможно, об изготовлении изразцов, а главное – об их применении в строительстве. Промышленники не могли допустить, чтобы неумелые укладчики свели на нет хорошую работу и чтобы в конечном итоге подрядчик приписал изготовителю изразцов дефекты, обнаруженные в процессе строительства. Далмау жил во времена, когда появился уже поргланд-цемент и в укладке плиток произошла революция. Он усвоил,

что, если накладываешь плитку на пол или на стену, требуется разная толщина песчаного слоя; кладя плитку на лестницу, нужно учитывать борта для опоры; если покрывать плиткой деревянный пол, нужно сначала обработать дерево, а потом покрыть его слоем цемента. Усвоил также, сколько времени нужно отмачивать плитки, прежде чем выкладывать их; и что надо начинать с центра комнаты, оставляя стыки со стенами напоследок. В общем, научился всему, что нужно знать об укладке изразцов и мозаик, и в девятнадцать лет собственными силами добился того, что стал первым дизайнером и рисовальщиком после учителя. Не обошлось, конечно, без зависти и обид, многим на фабрике нелегко было подчиняться юнцу, который даже не носил пиджака и шляпы и совсем недавно ползал на коленях рядом со всеми, но Далмау вскоре показал свои умения, и жалобы затихли.

Донья Селия фыркнула и взглянула исподлобья, когда Далмау следом за учителем прошел через гостиную, направляясь в его мастерскую.

– Добрый день, сеньора, – тем не менее поздоровался он. – Сеньориты, – слегка кивнул двум дочерям учителя. Девушки, моложе Далмау на год или на два, убивали время, апатично сидя у широких окон, выходящих на Пасео-де-Грасия.

Маленький сын учителя, должно быть, в игровой комнате, предположил Далмау.

Урсула, старшая из сестер, ответила на приветствие загадочной улыбкой, которая взбудоражила Далмау. Не в первый раз подмечал он эту улыбку, взгляд из-под чуть опущенных век: мгновение бесстыдства, какое позволяла себе девушка, стараясь, чтобы никто другой на нее не смотрел и этого не заметил, говорило Далмау о чем-то гораздо большем, чем простое мимолетное приветствие.

– Далмау!

Оклик учителя, который стоял уже перед дверью своей мастерской, прогнал эти мысли.

– Что думаешь? – спросил дон Мануэль, напыщенным жестом показывая свое последнее творение. – Хочу преподнести это новому епископу в честь его прибытия в город.

«Реально, слишком реально» – мог бы сказать Далмау. Но промолчал и сделал вид, будто пристально рассматривает картину. Ему не требовалось слишком в нее вникать. Картина хорошая... но устаревшая, вроде тех темных полотен, какие можно видеть внутри храмов. Городской пейзаж, на котором выделяется церковь, на переднем плане две скромно одетые женщины, готовые войти вовнутрь. Но не хватало света; света, унаследованного от импрессионистов, с которым даже соратники учителя в конце концов стали заигрывать. Может, новому епископу картина понравится. Она была овеяна ностальгией. Не выражала почти никаких чувств, кроме благочестия и религиозного пыла. «Что думаешь?» Всегда одно и то же: выскажешь суждение, и создашь себе проблемы. А он был связан с учителем. Дело было не только в работе на керамической фабрике. В январе этого года в Барселоне прошла жеребьевка среди юношей, достигших девятнадцати лет, которым предстояло пополнить ряды армии. Судьба не была благосклонна к Далмау, на его имя выпал жребий. Двенадцать лет посвятить армии! Первые три года действительной службы на казарменном положении, еще три в запасе первой очереди и остальные шесть в запасе второй очереди. Крах для любого молодого человека, который по меньшей мере на первые три года действительной службы вынужден бросить образование, привычную жизнь, работу, часто незаменимую в скудном бюджете рабочей семьи. Хосефа, мать Далмау, узнав новость, чуть не лишилась чувств; Монсеррат и Эмма обрушили свой гнев на государство, армию, богачей и попов, потом обе расплакались, Эмма – безутешно, ведь она понимала, что теряет жениха. А дон Мануэль Бельо посетовал, ругнулся, не выходя за рамки приличий, как и следует доброму христианину, подумал несколько мгновений, немного попытал и предложил Далмау займы сумму, необходимую для выкупа: заплатив ее, богатые освобождались от военной службы, а те, кто не располагал средствами, залезали в долги: полторы тысячи песет золотом!

Далмау переговорил со своими. Те приняли, хотя и считали учителя оголтелым католиком, буржуа, капиталистом, денежным мешком: он олицетворял все то, против чего они до сих пор боролись. Отец Далмау, Томас, был несправедливо осужден и погиб. Дон Мануэль служил живым воплощением власти, угнетающей рабочих, обкрадывающей их и эксплуатирующей, и против этой власти сейчас поднималась на борьбу молодежь.

– А ты сам, сынок, что думаешь? – спросила Хосефа, заставив девушек замолчать.

Далмау вытянул руки, показал ладони.

– Я только хочу рисовать, писать картины и оставаться с вами, – проговорил он. – И какая разница, тот, другой или третий одолжит мне полторы тысячи песет, чтобы откупиться от армии?

Они подписали договор о займе, составленный адвокатом дона Мануэля. Уселись втроем за длинный стол, предназначенный для куда более многочисленных собраний. Встреча заняла больше времени, чем было необходимо для подписания документа, который адвокат теребил в руках, будто какую-то бумажку, не имеющую значения, пока они с учителем беседовали о своих семьях и прочих обыденных вещах, словно и не замечая присутствия Далмау. Наконец, будто осознав вдруг, что понапрасну теряют время, оборвали разговор и занялись займом. Адвокат просмотрел документ, составленный помощником. «Как и следует. Как положено. Хорошо. Верно», – приговаривал он походя.

– Повезло тебе, парень, – сказал он Далмау, показывая пальцем, где подписать, – что у тебя такой щедрый учитель, как дон Мануэль.

Далмау должен был в счет долга возвращать по сто песет в год, учитывая проценты; это ему сообщил адвокат. Он так и не прочел весь договор, слишком много в нем было страниц, и, дав его на подпись матери, поскольку в свои девятнадцать лет еще считался несовершеннолетним, положил в папку для документов, а копию, предназначенную для учителя, прихватил с собой на работу, чтобы вручить ему. Какая разница, что написано в договоре? Он работал на дона Мануэля, тот платил хорошо, и именно человеку, который платил ему, Далмау был должен деньги.

И теперь нужно высказать суждение о картине, написанной человеком, благодаря которому он не заперт в казарме где-нибудь на просторах Испании. Картина ему не нравилась, он находил ее темной и устарелой, она не вызвала у него никаких чувств. Но мог ли он высказать свое истинное суждение? Надо было найти что-то такое, что не звучало бы как откровенная ложь.

– Кажется, будто слышишь молитвы, исходящие из уст этих двух прихожанок, – проговорил он со значением, хотя и тихим голосом, будто не желая прерывать молящихся.

Дон Мануэль расплылся в блаженной улыбке, которую не скрыли даже бакенбарды и пышные усы, весь прямо раздулся от гордости.

Тем же вечером Далмау бездумно брел среди толпы по кварталу Сан-Антони. Он попросил Пако пораньше зайти к нему, и старый сторож охотно выполнил свою задачу, притушив газовые лампы в мастерской, в то время как юноша все еще был погружен в работу.

– Что случилось? – возмутился Далмау, увидев, что его прервали.

Вспомнив, улыбнулся, забросил на вешалку халат и направился в столовую, где работала Эмма, заведение, расположенное на улице Тамарит, недалеко от рынка и от фабрики дона Мануэля в квартале Лес-Кортс: идти туда было около получаса, если не торопиться, все время прямо, по направлению к морю. Иногда, если солнце еще светило над Барселоной, Далмау делал крюк, проходил часть пути по проспекту Диагональ и спускался в старый город по Пасео-де-Грасия или Рамбла-де-Каталунья, любуясь зданиями в стиле модерн и гуляющими по улицам богатеями. Но в сумерках, как сейчас, ему больше нравилась атмосфера бедных кварталов, постоянное движение, грохот, доносящийся с мебельных фабрик и столярных мастерских. В

квартале Сан-Антони, не то что в Лес-Кортс, расположенном дальше от центра города, было всякой твари по паре: портные, шорники, цирюльники и лудильщики, чьи заведения перемежались со шляпными фабриками, скорняжными мастерскими, где стригли кроличьи шкурки; заводами, где гнали ликеры или водку; фабриками по производству ламп, кузнями...

Квартал Сан-Антони имел границы, четко обозначенные в административном регистре, но обычно считалось, что он охватывает обширную зону от снесенной Барселонской стены, от которой остались ворота Сан-Антони и окружная дорога, до скотобойни по левому краю; верхним пределом полагали улицу Кортес или даже забирали еще выше; проспект Параллель и площадь Университета ограничивали квартал соответственно снизу и справа. Весь он составлял часть барселонского Эшампле, района новой застройки: после сноса стен освободилась прилегающая к ним территория, которую раньше нельзя было застраивать из соображений обороны.

Но, в отличие от Пасео-де-Грасия, Рамбла-де-Каталунья и прилегающих улиц, где богатые буржуа старались перещеголять друг друга, воздвигая здания в неоклассическом стиле, а теперь и в стиле модерн, Сан-Антони представлял собой скопление самых разных предприятий, больших и малых, вперемежку с безликими жилыми домами и еще не застроенными участками. Внутренние части кварталов, которые согласно первоначальному градостроительному замыслу Серда⁷ предназначались для садов и площадок для отдыха, занимали мастерские и жалкие хибары, выстроившиеся вдоль дорожек, ведущих к центру этих обширных дворов.

Люди беспрерывно входили и выходили из домов и мастерских, спокойно, как ни в чем не бывало, будто и не объявлялось чрезвычайное положение, за исполнением которого лениво следили расхаживающие по району солдаты. Трамваи, повозки, запряженные мулами, извозчики, всадники, велосипедисты сновали с опасностью для жизни по немощеным дорогам, поднимая тучи пыли. Крики, смех, а порой и ругань разносились по улицам, вместе с тысячами запахов, плывущих по воздуху: соленая рыба; кислоты, серная или азотная, от которых перехватывало дыхание; спиртное, уксус, удобрения, жиры, выделанные шкуры самых разных животных... Далмау ощущал, как все его чувства возбуждаются, воспринимая свет, цвета, людей, запахи, шум, грохот, веселье... Хорошо бы написать это, прямо здесь, уловить ощущения и перенести их на холст, вперемешку, так, как он это чувствует: яркие вспышки, выстрелы жизни. К столовой «Ка Бертран», где работала Эмма, он подошел в необычайном состоянии, которое никак не мог определить: то ли ему приятно, то ли беспокоит.

Столовая «Ка Бертран» представляла собой одноэтажное здание из бросовых материалов; в просторном зале в три ряда стояли столы; крыша с двух сторон покоилась на колоннах, и ряды столов продолжались под открытым небом, выходили на участок, граничивший с мыловаренным заводом. В столовой, как всегда, было полно народу: тут подавали дешевую еду для обитателей бедного квартала. Всего за тридцать сентимо дочери Бертрана предлагали клиентам щедрую порцию бобов с небольшим количеством мяса или трески, хлеб и вино. Доплатив еще несколько сентимо, можно было выбрать *эскуделью*, то есть суп на бульоне и выбранные из него мясо и овощи. Далмау окинул взглядом переполненный зал. Эммы он не обнаружил, зато Бертран спокойно стоял в углу, присматривая за работой заведения. Опровергая расхожее мнение о том, что хозяева столовых наедают себе пузо, Бертран был тощий. Увидев Далмау, он улыбнулся и мотнул головой в сторону кухонь. Далмау тоже кивнул хозяину и направился туда; юноша пользовался в заведении некоторыми привилегиями не только как жених Эммы, но и благодаря нарисованному углем портрету жены Бертрана и его двух дочерей: тот уверял, что портрет занимает почетное место в столовой у него дома.

Далмау зашел в кухни, расположенные с краю. Через какое-то время после первого портрета Бертран попросил сделать другой, свой собственный, и тот висел прямо за дверью, над стойкой, где держали напитки и пересчитывали деньги. Четыре или пять человек металась по

⁷ *Ильдефонс Серда-и-Суньер* (1815–1876) – испанский градостроитель, автор проекта расширения Барселоны.

кухне, но Эммы среди них не было. Было непонятно, как на таком малом пространстве удается приготовить столько еды, сколько подается в зале: четыре экономичных плиты из чугуна, с четырьмя круглыми конфорками каждая; все они топились углем. Все конфорки горели, на них – железные сковородки, миски и кастрюли. В углу был очаг, над ним, на цепи с крюком, висел огромный котел, в данный момент бурлящий.

– Она на улице, чистит посуду, – мимоходом сообщила одна из дочерей Бертрана. В столовой работала вся семья.

– Не стой тут столбом! – накинулась на него вторая.

– Забирай свою невесту и не путайся под ногами, – заключила мать повелительным тоном.

Далмау подчинился и вышел на задний двор, где складывали уголь и копилась всякая ненужная утварь, которую Бертран упорно хранил. Надвигалась ночь. От солнца оставалась красноватая полоса, и это оживило в юноше чувства, с какими он подходил к столовой. Он вроде бы узнал Эмму в девушке, стоявшей против света, спиной к нему, склонившись над кучей песка, которым она драила грязные тарелки. Двое мальчишек, явно за объедки от ужина, помогали ей. Далмау тихо подошел, обнял девушку за талию и крепко прижался к ее ягодицам.

– Эй! – крикнула Эмма, резко выпрямляясь.

Далмау не выпустил ее.

– Если бы ты не удивилась, я бы забеспокоился, – шепнул он ей на ухо, прижимаясь еще крепче.

– Я всегда так реагирую, когда меня атакуют сзади, – рассмеялась Эмма. – А вы продолжайте драить! – прикрикнула она на мальчишек, которые уставились на парочку, забыв обо всем.

Далмау потерялся о нее набухшим членом.

– Почему бы нам не пойти куда-нибудь?.. – предложил, целуя ее в шею.

– Потому, что нужно закончить с посудой, – перебила она.

Эмма снова наклонилась, и Далмау прилип к ее бедрам, настойчивый, сильный; она высыпала горсть песка на грязную тарелку и стала оттирать остатки еды. «Да уймись ты!» – крикнула Далмау, который теперь пытался нашарить ее груди. Бросила грязный песок с объедками в другую кучу. Песок был мягкий, липкий, какого полно на горе Монжуик. «Хватит!» – повторила, чувствуя, как Далмау сжимает ей грудь. Убедившись, что на тарелке не осталось объедков, прополоскала ее в тазу.

– Может, эти двое продолжат? – предложил Далмау.

– Ну да: стоит мне отвернуться, как они сопрут тарелки, таз и даже песок. Потерпи, осталось немного... только не мешай работать. Понял?

Далмау не отошел, но ослабил объятие, чтобы Эмма могла мыть посуду.

– Взял бы да помог, – с укором сказала та.

– Я? Художник? – рассмеялся он. – Мне пачкать руки...

– Сказать тебе, в чем выпачкаются эти руки сегодня ночью? – спросила она лукаво.

С помощью Далмау они управились быстро и распрощались с Бертраном, его женой и дочерьми, поспешно, чтобы не слушать их шуточки. Направились к дому Эмминого дяди, где она жила с тех пор, как осталась сиротой.

– Он сегодня на бойне в ночную смену, – успокоила она Далмау.

– А твои кузены?

Эмма пожала плечами:

– Если они появятся, то поймут. А если не поймут, потерпят.

То была квартира в доходном доме, одном из тысяч, богатеи строили их в барселонском Эшампле, чтобы сдавать жилье рабочим, которые все прибывали из разных мест в большой город в поисках лучшей жизни. Кирпичные строения, «дома из лестниц», как их называли

вначале, а затем – «конструкции по-каталонски»; их воздвигали с максимальной экономией, хлипкие кирпичные стены несли на себе до восьми этажей. Прорабы, работавшие на строительстве этих домов, уверяли, что их несущие стены – самые тонкие в мире, по отношению к весу, который они должны удерживать.

Квартиры были неравноценные, их качество понижалось по мере того, как повышался этаж. На парадном, или главном этаже, сразу над магазинами, выходящими на улицу, жил владелец. Высокие потолки, просторный балкон, широкие окна... По мере того как этажность росла, квартиры становились более тесными, окон меньше, потолки ниже, балконы уже; на самых верхних балконах вообще не было, и, разумеется, качество стройматериалов тоже постепенно ухудшалось.

Квартира Эмминого дяди располагалась наверху, и все равно она была просторнее, в ней было больше воздуха, чем в жилищах старого центра. Эмма приперла дверь одной из спален, той, которую она делила с кухней, зажгла пару свечей, повернулась, с силой пихнула Далмау, и тот, продолжая тискать ее груди, споткнулся, зашатался и сел на кровать. Эмма встала перед ним и притянула его голову к низу своего живота.

– Ну и где твой пыл? – спросила, продолжая тереться об него животом.

Далмау встал на колени, сунул голову под передник и юбку и, стиснув ее ягодицы, принялся лизать, сначала бугорок, потом вульву. Пока Далмау шуровал под ее одежками, Эмма, как будто ей недостаточно было наслаждения, какое юноша ей доставлял, ласкала себя, все свое тело: живот, груди, шею... Наконец достигла оргазма, издав сдавленный крик.

– Разденься, – поторопила она Далмау.

Сама сняла всю одежду, обнажив полные, крепкие груди с поднятыми кверху сосками, плоский живот, тонкую талию, округлые бедра. Чувственная, сложенная на диво. «У тебя хорошая кость», – говорил Далмау, сопровождая комплимент шлепком по заду. Дядя работал на бойне, а сама Эмма – в столовой, потому она и питалась лучше, чем большинство жителей Барселоны. Как всякий раз, когда видел ее обнаженной, Далмау замотал головой, глазам своим не веря, в экстазе от почти нереального совершенства.

– Такая красота, – восхитился он. – Волшебная красота.

При слабом свете двух свечей улыбка блеснула на влажном от пота лице Эммы. Строгий овал, большие карие глаза, пухлые губы, немного выступающие скулы и словно выточенный из камня прямой нос, по форме которого можно было догадаться о ее решительном, независимом нраве. Вряд ли кто-то мог ошибиться на ее счет.

– Ты тоже ничего, – отозвалась она, поглаживая его напряженный член. – Резинка есть?

– Нет, – посетовал Далмау.

– У тебя было полно времени, чтобы ее достать, – ворчала она, опрокидывая Далмау на спину. Потом уселась на него верхом, приладилась, помогая рукой. – Предупреди, как станешь кончать, – попросила, начиная ритмично двигаться, одновременно пощипывая ему соски обеими руками. – Не предупредишь – убью.

Далмау схватил ее за талию, привлек к себе, чтобы не сбиться с ритма.

– Люблю тебя, – шепнула Эмма с закрытыми глазами, прервав на миг вздохи и стоны. Она задрала голову, выгнулась, чтобы полней ощутить его внутри себя, усилить наслаждение.

– И я тебя тоже, – ответил Далмау.

– Как сильно любишь? – спросила она за миг до того, как судорога охватила все ее тело.

– Сполна, сполна...

Эмма застонала.

– Врунишка, – бросила ему потом.

– Ах, так?

Далмау налег с силой, будто желая пронзить ее. Эмма вскрикнула. Толчок, еще толчок... Предупреждать было не обязательно. По судорожным его движениям Эмма догадалась, что он вот-вот кончит. Сошла с него, встала на четвереньки, помогла губами.

Оба, потные, запыхавшиеся, рухнули на постель. Далмау обнял Эмму за шею, привлек к себе, и она, утомленная, положила голову ему на грудь. Он слушал, вне себя от счастья, как выравнивается ее дыхание. Эмма... Он улыбнулся, подумав, что они с детства знакомы. Да, ведь уже тогда время от времени его сестра в шутку дразнила их женихом и невестой, особенно Эмму, которая краснела и отводила взгляд. Чего еще могла желать Монсеррат, как не того, чтобы ее любимый братец женился на ее лучшей подруге? В какой-то день, какой-то определенный миг Эмма перестала быть девчонкой, подружкой его сестры, дочерью товарища их отца и превратилась в женщину чувственную и привлекательную, независимую, работающую, сильную и умную. Далмау не мог точно сказать, когда и как это произошло. Он часто об этом думал: не только великолепие тела побудило его по-другому взглянуть на Эмму. Может, какая-то реплика в разговоре, четкая, сухая, резкая; или какая-то шутка, или искренний, беззаботный смех, далекий от всякого притворства. Может, это случилось, когда он увидел, как Эмма работает в столовой, или тем вечером, когда она неожиданно нагрянула в квартиру его матери с кастрюлей тушеного кролика, приправленного чесноком и петрушкой. «Ужинать!» – позвала она Хосефу, Монсеррат и Далмау. Может, причиной была отвага, с какой она на улицах боролась за права бедноты. Или запах с едва заметной ноткой корицы, который он однажды вечером ощутил и который поразил его с обескураживающей силой: та ли эта Эмма, какая была вчера? Нет, Далмау не мог точно определить момент, когда влюбился в свою... богиню.

Он прижал к себе Эмму, которая забавлялась, накручивая на палец волосы, росшие у него на груди, а потом резко дергая их и вырывая. «Дурочка!» – ругал ее Далмау. А что она?

– Я всегда была влюблена в тебя, – призналась Эмма однажды, когда они затронули эту тему.

– Всегда? Но почему? – пытался докопаться Далмау.

– Я была еще совсем маленькая. Но думаю, меня уже тогда привлекала твоя способность тонко чувствовать. Помнишь картинки, которые ты рисовал для меня? – спросила Эмма, и Далмау кивнул. – Они тогда были очень плохие... – Эмма засмеялась. – Но я их все сохранила.

Она так и не показала Далмау те рисунки. «Вдруг ты надумаешь у меня их отобрать, – сказала она. – Вы, художники, на все способны». Далмау долго лежал и слушал дыхание Эммы, а та теребила ему волосы на груди и время от времени за них дергала.

– Знаешь что-нибудь о моей сестре? – спросил он наконец.

2

На узкой, темной лестнице, пропитанной сыростью, Далмау остановился за две ступеньки до площадки, куда выходила дверь их квартиры. Прислушался к звукам, долетавшим до него, и не поверил своим ушам. Но сомнений не было: стучала швейная машинка. Полночь давно миновала, в такой час мама и Монсеррат давно должны быть в постели: сестра вставала на рассвете, чтобы успеть на фабрику. Еще раз занявшись любовью, они с Эммой вышли прогуляться по Параллели, купить чего-нибудь поесть в одном из многочисленных киосков, расположенных вдоль тротуара, выпить кофе, а потом насладиться каким-нибудь зрелищем. Ибо, если богатеи и буржуа выходили на Пасео-де-Грасия, чтобы выставиться и пустить пыль в глаза, то мастеровые, богема, иммигранты, безработные всякого рода и всякого рода шарлатаны встречались на Параллели, проспекте чрезвычайно широком – на самом деле он назывался улицей Маркиза дель Дуэро, замыкал Эшампле с левой стороны и кончался в порту. Там хаотично, заступая даже на мостовую, рядом с мастерскими, фабриками и складами громоздились деревянные хибары, где торговали всеми видами товаров; изобиловали аттракционы типа каруселей и прочие увеселительные сооружения, включая цирк; кафе с верандами; столовые, бордели, танцевальные залы и театры, много театров, и все это под газовыми фонарями, которые давали теплый, приятный, почти уютный свет, в отличие от вольтовых дуг электрического освещения, установленного на некоторых улицах города: те испускали свет яркий, режущий глаза. Битву между газом и электричеством, «светом для богачей» – как называли его по той простой причине, что электричество провели в театры, шикарные рестораны и дворцы, – все же по-прежнему выигрывал газ: на улицах Барселоны насчитывалось тринадцать тысяч газовых фонарей против жалких ста пятидесяти электрических.

Эмма и Далмау уселись на одной из упомянутых веранд и, взявшись за руки через стол, довольные, болтали, улыбались друг другу тысячу раз, а главное, наслаждались суетой и гомоном толпы. Весь этот праздничный гул будто комом застрял в горле у Далмау, когда он, перепрыгнув через две последние ступеньки, влетел в материнский дом. Мать сидела у себя в комнате при свете почти догоревшей свечи и шила, ритмично нажимая на педаль. Хосефа не посмотрела на сына, не хотела, чтобы он увидел ее глаза, налитые кровью, но Далмау заметил это даже в полутьме.

– Что стряслось, мама? – спросил он, встав перед ней на колени и заставив наконец замереть ногу, которая с маниакальным постоянством все давила и давила на проклятую чугунную педаль. – Почему вы так поздно не спите?

– Ее задержали, – перебила мать дрожащим голосом.

– Что?..

– Монсеррат задержали.

Хосефа собралась снова вернуться к работе, но Далмау воспротивился, на этот раз довольно резко, о чем тотчас же пожалел.

– Прекратите уже шить! – крикнул он. – Ладно... Извините. – Привстав на корточки, пригладил растрепанные волосы матери и повторил: – Извините. Но вы уверены? Откуда вы знаете? Кто вам сказал?

– Ее подруга с фабрики. Мария дель Мар. Знаешь ее? – спросила Хосефа, и Далмау кивнул. Ему доводилось иногда общаться с другими подругами сестры. – Так вот, она пришла...

Хосефа закашлялась, не в силах продолжать. Далмау побежал на кухню за стаканом воды. Когда он вернулся, нога матери уже снова и снова жала на педаль.

– Не мешай мне, – попросила она, сделав глоток. – Не знаю, чем еще заняться. Спать я не могу. Нет смысла идти на улицу искать дочь, я не знаю, где ее держат. Что, по-твоему,

мне делать, кроме как шить... и плакать? Не знаю, где ее держат, – повторила она, запустив машинку. – Где держали твоего отца – знала. В замке. Его держали в замке.

Отойдя на шаг, Далмау заметил, как она постарела. Она страдала, когда арестовали мужа. Тот клялся, что ни в чем не виноват. Хосефа знала: он говорит правду. Навещала его. Молила за него в замке, в штабе военного округа, в городской управе. Вставала на колени, унижалась, моля о милосердии, которого не добилась. Военные пытали заключенных, из некоторых, Томаса в том числе, вытрясали душу, вырывали у них признания, судили, выносили безжалостные приговоры.

– Солдаты, – вдруг проговорила мать, будто читая в мыслях у Далмау. Военный суд был куда суровей гражданского. – Ее схватили солдаты.

– Мы ее выручим, – пообещал Далмау, пытаясь поднять ей дух.

Группа женщин не подчинилась чрезвычайному положению: в то время как рабочие, молча понурив головы, расходились по фабрикам квартала Сан-Марти, женщины призывали бастовать, продолжать борьбу, не отступать... Батальон, следивший за порядком в районе, не знал снисхождения. Некоторые бунтарки скрылись, смешавшись с толпой работниц, другим, как Монсеррат, это не удалось. Вот что, давась рыданиями, рассказала мать со слов Марии дель Мар. Далмау в волнении ходил по комнате. Что он должен... что может сделать? Он пытался что-нибудь придумать, но стук швейной машинки мешал; Далмау закрыл глаза и стиснул зубы, чтобы не сорваться снова. Ему это удалось. Огонек свечи трепетал, отраженный в оконном стекле; Далмау подошел к окну, взгляделся в плотную, непроницаемую ночную темноту. «Куда отвели Монсеррат?» – спрашивал он себя. Его чуть не вырвало, рот наполнился желчью при одной мысли о том, что свора разъяренных солдат может сотворить с его сестрой. Он прижался щекой к стеклу, чтобы удержать позыв. Мать не должна видеть его сломленным. «Мы ее выручим», – повторил Далмау, взглядывая в темную улицу. Хосефа прервала шитье и взглянула на сына с искрой надежды в глазах, покрасневших от слез. «Клянусь вам, мама!» – выпалил он и в тот же миг заметил, как по тонушей во мгле улице Бертрельянс прошмыгнули какие-то тени. Он не знал, что делать, и в нерешимости повернулся к матери спиной, чтобы та не заметила беспокойства в его чертах. Ведь он даже не знал, куда доставили задержанную Монсеррат.

– В тюрьму, конечно.

– Да. В «Амалию».

– Вы уверены? – спросил Далмау, обращаясь к Томасу, его подруге и еще одной женщине, которая вроде бы жила вместе с ними в квартире на улице Робле-Сек, рядом с Параллелью.

Томас пожал плечами.

В конце концов Далмау решил прибегнуть к помощи старшего брата. Анархиста. К забастовкам подстрекали они, а не республиканцы, в чем его уверила Эмма. Не один год анархисты пытались поднять трудящихся Барселоны, повести их за собой к вожделенной революции путем террора и насилия, но рабочие не пошли за ними. Однако те же самые рабочие загорелись возможностью примкнуть ко всеобщей забастовке: такая форма борьбы им была понятна.

– Не станут же они ее держать в казарме, – добавил Томас. – Это им ничего не даст, кроме проблем. Ее наверняка заключили в «Амалию», там она и станет дожидаться суда. Так обычно поступают.

– Ты знаешь кого-нибудь в тюрьме, кто мог бы позаботиться о Монсеррат, – волнуясь, спросил Далмау, – пока?..

«Пока – что?» – осекся он на половине фразы. Ее будут судить и приговорят. Это точно.

Брат, нахмурившись, развел руками и покачал головой:

– Разумеется, там, внутри, у нас есть свои люди, но у них и без того проблем хватает. Мы, анархисты, – отбросы общества, источник всех зол; революционеры, террористы... Есть конкретные указания, направленные на то, чтобы сделать нашу жизнь невыносимой, ослабить

нас по-всякому; мы хуже любого убийцы или растлителя детей. – Томас закатил глаза, он представлял себе, что сейчас думает брат: чего еще они ожидали, терроризируя бомбами всю Барселону. – Это – революция, – попытался он поспорить с невысказанными мыслями брата.

Далмау хранил молчание. Он мало знал отца. Был слишком юн, когда его посадили, и сожалел, что так и не смог поговорить с ним как мужчина, не как ребенок. Сейчас он вдруг понял, что со старшим братом происходит то же самое. Он был идиолом для мальчишки, который видел в его действиях истину, силу, борьбу с несправедливым положением вещей: чем они отличаются от денежных мешков, почему эти буржуа каждый день едят белый хлеб и мясо? Но на самом деле он брата не знал. Томас слишком рано ушел из родительского дома.

– Далмау, – прервал тот его размышления, – уже слишком поздно. Переночуй у нас, а завтра утром пойдем...

– Не могу. Я должен вернуться домой. Не хочу, чтобы мама долго оставалась одна. Увидимся на рассвете, у тюрьмы «Амалия», хорошо?

Он остановился на той же ступеньке, что и в первый раз: за две до площадки. Через пару часов рассветет, в доме уже просыпались жильцы, слышались полные истомы звуки, но ни один не был похож на стук швейной машинки. Его бы Далмау расслышал даже в разгар грозы. Он крадучись вошел в квартиру. Зажег свечу. Мать оставалась в той же позе, что и тогда, когда он отправлялся к Томасу: сидела на табурете перед швейной машинкой, отрешившись от всего, даже от шитья, всей душой, всей болью и слезами пребывая со своей дочкой Монсеррат.

– Мама, ложитесь, отдохните, – взмолился Далмау.

– Не могу, – ответила мать.

– Отдохните, прошу вас, – настаивал сын. – Боюсь, это долгая история, и за ночь мы вряд ли что-то сможем сделать. Вы должны ко всему быть готовы.

Хосефа уступила, свалилась на кровать.

– Рано утром мы с Томасом пойдем в тюрьму, – шепнул Далмау ей на ухо.

Мать в ответ захлебнулась рыданиями, Далмау поцеловал ее в лоб и ушел в свою комнату без окон, где лег не раздеваясь, чтобы только дожждаться рассвета.

Его разбудила возня Хосефы на кухне. Занималась зоря. Пахло кофе и свежеиспеченным хлебом: мать, видимо, спускалась на улицу, чтобы его купить.

– По всей вероятности, она в тюрьме «Амалия», – сообщил Далмау, целуя ее в темечко; она, склонившись над вделанным в стену очагом, готовила омлет с почками. – Мы с Томасом договорились пойти туда с утра.

Хосефа поставила еду на стол, Далмау уселся.

– Эта тюрьма – вместилище зла, полное преступников. Ее разорвут на куски. Твоя сестра борется за свободу, ищет общего блага, хочет вывести рабочих из рабства, снять с них цепи: наивная идеалистка, такая же, каким был твой отец и каков твой брат. Ничего себе семейка! И твоя невеста туда же! – вдруг пришло ей на ум. – Эмма такая же, как они! Гляди за ней в оба...

– Мама, – перебил ее Далмау, – детьми вы нас водили на манифестации. Я сам видел, как вы готовили беспорядки.

– Поэтому я знаю, что говорю. Я потеряла мужа, а теперь... – Голос ее пресекся. – Девочка моя! – зарыдала она.

– Мы ее вытащим оттуда. – Далмау быстро принялся за завтрак, словно это уже был вклад в освобождение сестры. – Точно, мама. Не плачьте. С Монсеррат ничего не случится.

Далмау вытер губы салфеткой, встал, обнял мать. С каждым разом она казалась ему все более маленькой и хрупкой. «Не волнуйтесь», – прошептал он ей на ухо, когда солнце уже поднялось над проклятой трущобой.

– Мне пора, мама. – Она кивнула. – Постарайтесь успокоиться. Я сообщу вам новости, как только смогу.

Захватив немного денег из заначки, как ночью ему присоветовал брат, Далмау ринулся по лестнице вниз. Жалко оставлять маму в таком состоянии, но дольше задерживаться он не мог. Томас, наверное, уже ждет у дверей тюрьмы.

Тюрьма «Амалия» располагалась на улице Рейна Амалия, рядом с Ронда-де-Сан-Пау, на другом конце старого города, поблизости от Параллели, где они ночью развлекались с Эммой, а также от рынка Сан-Антони, стало быть, и от столовой, где работала его невеста. От улицы Бертрельянс Далмау направился к Ла-Рамбла и дошел до улицы Ospital, которая углублялась в самую мрачную часть барселонского квартала Раваль. Здесь и на улице Робадорс имелись в изобилии публичные дома; пансионы, где люди спали на одной кровати, а то и на тюфяке, брошенном на пол, и кабаки, где забулдыги до сих пор пьянствовали и орали; а рядом со всем этим – заведения с претензией на хорошее качество и достойное обслуживание, как, например, гостиница «Эспанья», чей владелец, пленившись стилем модерн, заказал архитектору Доменек-и-Монтанеру полностью перестроить здание. Так или иначе, в этот час проститутки, нищие, пьяницы и карманники смешивались с толпой рабочих, спешивших на смену; последние старались отмежеваться от первых, не наступить на пропойцу, который валялся на земле, одурманенный и расхристанный, или уклониться от проститутки, у которой выдалась дурная ночь и которая думала, что еще можно все поправить. Карманники и жулики курили у стен, глядя, как рабочие проходят сомкнутым строем, понимая, что вряд ли можно чем-нибудь разжиться у этих мужчин и женщин, которые в лучшем случае несут с собой корзинку с немудрящей едой. Далмау торопливо шагал в этой толпе, чувствуя, что ему все сильнее не хватает воздуха: к тревоге за судьбу сестры, которая сдавливала ему грудь, прибавилась невыносимая вонь грязных, зараженных улиц. Его подташнивало, пока он не оказался на Ронда-де-Сан-Пау, перед самой тюрьмой, где пространства было больше и задувал ветерок, уносящий запахи.

Солнце ослепило его в тот момент, когда он принялся высматривать Томаса. Далмау не обнаружил брата в толпе, ожидавшей у дверей тюрьмы. Он поднял глаза, стал разглядывать здание. То был старинный монастырь, отобранный у конгрегации лазаристов в ходе отчуждения церковных имуществ, проводившегося испанским правительством в XIX веке, и превращенный в тюрьму. Прямоугольное пятиэтажное строение, к которому с одной стороны примыкал обширный двор, тюрьма «Амалия» была рассчитана на триста заключенных, но там, внутри, их скопилось полторы тысячи. Мужчины, женщины, дети и старики, без различия; не было различий и между уже приговоренными и только ожидающими суда. Камер не хватало, и узники вынуждены были обитать во дворах, в коридорах, в любом углу, где могли пристроиться. Еда была отвратительная, гигиена и порядок полностью отсутствовали, стычки происходили постоянно. Лучшая школа, чтобы стать преступником. И там, с убийцами и ворами, была заперта Монсеррат, красавица восемнадцати лет, но анархистка в глазах властей.

При одной мысли об этом у Далмау все переворачивалось внутри.

– Она там, – подтвердил Томас за его спиной.

Далмау не слышал, как брат подошел. Не стал спрашивать, откуда он знает, с каких пор находится здесь; вместо того поинтересовался, можно ли увидеть ее.

– Деньги принес? – спросил брат, понижая голос.

Далмау кивнул.

Томас вопросительно взглянул на мужчину, стоявшего рядом.

– Можно попробовать, – заявил тот. – Я заметил тут пару знакомых надзирателей.

– Хосе Мария Фустер, – представил его Томас, – соратник по борьбе, – добавил торжественно, – и вдобавок адвокат. Он может заняться делом девочки. К сожалению, у него много опыта в таких делах.

Далмау повернулся к Хосе Марии, который выдержал его взгляд с нерушимым спокойствием: стало быть, Томас имел основания за него ручаться. Будто от этого зависело, согласится

ли он защищать Монсеррат, Далмау порылся в кармане, вынул деньги и вручил ему пятьдесят песет. Адвокат пересчитал купюры и сорок пять песет вернул.

– Не стоит хвастаться деньгами и пускать пыль в глаза. Нас попросту надуют. Попробую снять его за две или три песеты, максимум за пять.

– Если нужно больше, не стесняйся, – настаивал Далмау, готовый на любые жертвы, чтобы увидеть сестру.

– За пять песет эти хапуги устроят ей побег! – рассмеялся адвокат.

Томас тоже фыркнул, и оба направились было к дверям тюрьмы, но Далмау их остановил и стал снова предлагать Фустеру деньги.

– В любом случае мы должны оплатить твои услуги... – начал он, но Фустер тотчас же его оборвал:

– Нет. Я не беру денег за помощь товарищам.

У входа в тюрьму толпился народ. Простой деревянный брус, служивший барьером, удерживал людей в вестибюле. Томас остался на улице.

– Ты не идешь? – удивился Далмау. – Ты не хочешь увидеть Монсеррат?

– Если я туда войду, меня, того гляди, не выпустят, брат, – пошутил Томас. – Обними ее за меня и скажи... Скажи, чтобы мужалась. Ах! – спохватился он, когда Далмау уже отошел. – Отдай мне все, что есть при тебе, тебя обыщут.

«Чтобы мужалась». Наказ брата сверлил ему мозг, пока они с Хосе Марией проталкивались к барьеру. Женщины, особенно женщины, которые стремились увидеться с узниками или узнать об их судьбе, яростно защищали свое место в очереди и не давали пройти. «Нечего лезть!» – закричала одна. «Я адвокат», – отвечал Хосе Мария, продолжая напирать. «А я – драгунский капитан!» – услышал он позади себя. «А я – жандармский командир!» – прибавила третья под смех одних и жалобы других. Казалось, пробраться к барьеру невозможно. «Зачем ей мужаться?» – спрашивал себя Далмау. Что ждет Монсеррат там, внутри? Они застряли. Какой-то мужчина, тоже стоявший в очереди, схватил Далмау за блузу, стал отгаскивать. «Ты тоже адвокат?» – спросил с насмешкой. Далмау взмахнул рукой, вырвался. Хосе Мария худобедно продвигался, но Далмау какая-то женщина отпихнула. Стычка привлекла внимание двух надзирателей, стоявших за барьером.

– Что за хрень тут творится? – крикнул один. Далмау увидел, как Фустер машет рукой охраннику; тот, видимо, узнал адвоката. – Тишина! – приказал он, уже сжимая дубинку и показывая ею в сторону, где стоял Фустер. – Пропустите! – добавил, уже прямо указывая на него.

Мужчины и женщины расступились. Хосе Мария схватил Далмау за плечо, и они двинулись по узкому коридору, который им оставили. Женщина, которая отпихивала адвоката, плюнула ему вслед.

– Здесь всегда так? – спросил Далмау, когда они пригнулись, чтобы пройти под перекладиной.

– Только ранним утром, – ответил Хосе Мария. – Люди спешат на работу или по своим делам. Потом гораздо вольготнее. Постой здесь. – Он указал на барьер.

Адвокат и надзиратель отходят на несколько шагов. Говорят. Спорят. Притворное возмущение надзирателя. Потом – адвоката. Один отказывается, другой тоже. Надзиратель смотрит на Далмау, и тот впервые замечает, что его бежевая блуза разодрана сверху донизу. Может быть, его нищенский вид убеждает тюремщика. Он торгуется еще немного, возможно за несколько сентимо. Хосе Мария уступает, надзиратель соглашается. Деньги переходят из рук в руки, и в мгновение ока Далмау оказывается в крошечной камерке, сырой и провонявшей, с одним вытянутым, узким окошком наверху; стол и несколько стульев целиком заполняют ее, так что спинки упираются в стены. Надзиратель тщательно обыскивает его, прежде чем закрыть за собой дверь, которая целую вечность не открывается снова.

«Чтобы мужалась!» Лиловый синяк на левой щеке и подбитый глаз вполне объясняют наказ Томаса. Платье на сестре грязное, волосы встрепаны.

– У вас несколько минут, – снизошел к ним надзиратель, закрывая дверь.

Монсеррат стиснула зубы. «Да, я тут, – будто говорила она. – Рано или поздно это должно было случиться. Революция требует жертв». На вид она хранила невозмутимость и спокойствие духа, но, когда Далмау раскрыл ей объятия, сломалась и прильнула к нему, рыдая.

– Не переживай, – пытался Далмау ее утешить. – У тебя уже есть хороший адвокат, он возьмется тебя защищать. – Он чувствовал на своем плече теплое дыхание Монсеррат, всем телом ощущал содрогания от подавленных слез. Далмау пришлось прочистить горло, прежде чем голос подчинился ему. – Хосе Мария Фустер. Знаешь его? Томас говорит, он очень хороший адвокат. Анархист, – добавил он чуть ли не шепотом.

Монсеррат высвободилась из объятий брата и в этой крохотной камерке отошла от него на полшага, глубоко дыша и вытирая нос рукавом.

– Спасибо, – произнесла она еле слышно. – Спасибо, – повторила погромче. Снова задышала глубоко. – Надеюсь, этот адвокат приложит все силы. По тому, как обстоят дела и что на меня уже повесили здесь, мне это потребуется.

– Что ты хочешь этим сказать? Что на тебя повесили?

– Как мама? – перебила его Монсеррат.

– Очень волнуется, если честно.

– Хорошенько заботься о ней. – Видя, что Далмау хочет снова задать вопрос, опередила его: – А Эмма?

Краткие минуты, купленные за те песеты, Монсеррат расходовала, расспрашивая о тех и других, но избегая отвечать на вопросы, которые брат хотел ей задать. Он в конце концов рассердился:

– Не хочешь говорить о себе?

Монсеррат попыталась улыбнуться, и Далмау заметил, какую боль ей причиняет разбитое лицо.

– Не хочу, чтобы ты лез в это дело, – отвечала она. – Томас в курсе, и этот... Хосе Мария, да? – (Далмау кивнул.) – Этот, адвокат, тоже. Они мне помогут. Томас может провалиться в любой момент, его могут хоть сегодня арестовать. Раз я уже здесь, и боюсь, что надолго, – кто позаботится о маме? Ты должен держаться от всего этого подальше, Далмау. Мне нужно знать наверняка, что у вас с мамой все хорошо. И присматривай за Эммой, чтобы она ни во что не вляпалась. Если ты этим не займешься, если у меня не будет уверенности, что с моими все хорошо, тогда тюрьма и правда станет настоящим адом.

– Но что с тобой сделали? – показал Далмау на лицо сестры. – Кто тебя избил?

– Ей досталось хуже, – соврала Монсеррат, лелея надежду, что так и будет в следующей драке с арестантками, которая непременно произойдет.

Дверь отворилась внезапно, даже с какой-то яростью, напугав брата и сестру и толкнув Монсеррат, которая снова упала в объятия Далмау.

– Свидание закончено! – гаркнул надзиратель, сунув голову внутрь.

Далмау поцеловал сестру в здоровую щеку.

– Береги себя. Мы сделаем все необходимое, чтобы вызволить тебя отсюда.

– Девку, которая дралась ногами, до крови оцарапала и искусила солдата? – язвительно проговорил надзиратель. – Необходимое – нет, тебе нужно совершить невозможное, – добавил он и расхохотался.

Далмау стал допытываться у сестры, правду ли сказал этот идиот; очевидно, что Мария дель Мар, подруга Монсеррат, рассказывая матери о том, как задержали ее дочь, часть истории опустила. Монсеррат только потупила взор.

– На выход, черт вас дери! – рявкнул тюремщик.

Не получалось сосредоточиться на рисунках. Все восточные мотивы теперь казались пустыми и преходящими: тростники, цветы лотоса, кувшинки и дурацкие бабочки. Он опоздал на фабрику, но никто ему за это не пенял: все, и дон Мануэль в первую очередь, знали, что молодой художник порой работает до зари. Иногда рассвет заставал его погруженным в ворох набросков и рисунков. Поэтому он не спешил и обрадовался, когда Томас охотно согласился зайти в столовую; Далмау необходимо было повидать Эмму и рассказать ей о произошедшем, а брат проголодался, как и адвокат Фустер, который вернул без малого три песеты из пяти, выделенных на то, чтобы подкупить тюремщика. «Нельзя ли заплатить тому же надзирателю, чтобы он позаботился о Монсеррат?» – спросил Далмау, забирая деньги. Нет. Ни один служащий не станет публично защищать анархистку; убийцу – другое дело... «Убийцу – куда ни шло, – цинично заявил адвокат, – но только не анархистку. Есть риск, что его самого примут за такового или заподозрят в сочувствии движению и арестуют при первой же облаве». И пока эти двое утоляли голод тушеным телячьим языком с артишоками, Эмма на заднем дворе, выслушав Далмау, чуть не лишилась чувств. Юноша вовремя подхватил ее. Эмма крепко прижалась к нему и разразилась слезами.

– Быть того не может, – повторяла она, рыдая в голос. Вдруг вырвалась, оттолкнула Далмау чуть ли не с яростью. – Сучьи дети!

Далмау смотрел, как она мечется по двору среди горшков и мисок, плачет, стонет.

– В бога душу! – выругалась она наконец, растапывая кучу песка, приготовленную, чтобы драить посуду.

Далмау подошел. Эмма стукнула его в грудь сжатыми кулаками, раз, другой... Он позволил ей выплеснуть гнев. Когда руки у Эммы опустились и безвольно повисли, попытался снова обнять ее.

– Нет-нет, не надо, – противилась она, даже отступила на шаг. – Лучше скажи, что нам делать. Как вытащить ее оттуда? Скажи, что ей не причинят вреда! Обещай мне!

– Адвокат... У нас есть адвокат. Он там, – Далмау показал на столовую, – с Томасом. Он будет ее защищать.

Далмау не мог угнаться за Эммой, которая помчалась со всех ног в столовую, села за стол и забросала Хосе Марию Фустера вопросами, на которые тот отвечал с набитым ртом. Как, когда, почему, что с ней будет... Вдруг установилась тишина, которую ни Томас, ни адвокат не решались нарушить, даже прекратили жевать. Все четверо знали почему. Остался один вопрос. Далмау не осмелился задать его в тюрьме. Зато Эмма не побоялась коснуться этой темы.

– Сколько лет ей дадут?

Томас отвел глаза, наверное, уже обсуждал это с адвокатом.

– Мы на военном положении, – с усилием промолвил тот. – Монсеррат нарушила приказ генерал-капитана, к тому же, как рассказывают, подралась с солдатом. Нападение на военнослужащего подпадает под военную юрисдикцию, дело не подлежит гражданскому суду. А военные вершат правосудие ужасающе строго.

– Сколько лет? – Эмма требовала ответа.

– Я не знаю. И мне бы не хотелось никого вводить в заблуждение.

Женское лицо с тонкими восточными чертами, печальное: дама вот-вот разразится слезами. Вот что, не отдавая себе отчета, изобразил Далмау, komponуя коллекцию изразцов по японским мотивам. Лицо плоское, ни глубины, ни светотени; лицо, представляющее каждую из трех женщин, которые этим утром рыдали в его объятиях; трех женщин, которых он любил больше всего на свете: мать, невесту и сестру.

– Похоже, эта женщина на грани отчаяния, – отметил позже учитель.

– Да, – только и сказал Далмау.

Дон Мануэль ждал толкования, но не дождался.

– Недурно, – добавил он, думая, что Далмау бросил ему вызов: разбирайся, мол, сам. – Это увлечение европейцев символизмом и японской культурой меня удручает. Рисунки без перспективы, без жизни. Женщина, готовая заплакать, передает чувства, которых лишены другие части коллекции. Что может внести в цивилизацию культура, отрицающая веру в Господа нашего Иисуса Христа? – Учитель несколько секунд провел в молчании. – В любом случае, – заговорил он уже другим тоном, полным воодушевления, – изразцы будут иметь бешеный успех, я это предвижу, предчувствую. Они пойдут нарасхват. Людям нравятся подобные вещи. Хорошо, очень хорошо, поздравляю.

Далмау наблюдал, как из его мастерской выходит человек, раздувшийся от спеси, довольный своим консерватизмом и теми идеалами, которые он защищает: незыблемость устоев. Далмау вспомнил Ван Гога, Дега, Мане, мастеров, нет, гениев! А ведь на них повлияло японское искусство. Были такие и в Барселоне, например Рузиньол; но как может дон Мануэль признать хоть какие-то заслуги за самым видным представителем барселонской богемы?

В полдень он пошел обедать домой. Солгал матери насчет состояния Монсеррат. Хосефа не отставала, допытывалась, как там дочь, даже когда Далмау вроде бы закрыл тему. «Рассказывай. Что она, как: выглядит грустной?» Далмау напрягался, выдумывая новую ложь, пока Хосефа зашивала ему блузу. Потом поцеловал ее на прощание, тем самым прекратив расспросы, и вернулся на фабрику через Пасео-де-Грасия, куда попадало солнце, высвечивая детали зданий, где жили богачи: кованые решетки, мрамор или камень, а главное, керамику, цветные изразцы, которые в прихотливом духе модерна покрывали фасады. Далмау не обращал внимания на женщин, которые в такой час сновали по кварталу, не мог сосредоточиться и на новом проекте, который ждал его на фабрике; «японские» образцы уже попали в руки работников: те по цепочке переносили оригинал на шаблоны из вошеной бумаги, вырезали их в соответствии с рисунками и указывали нужные цвета. Затем шаблоны один за другим накладывались на изразец и раскрашивались по лекалу, пока из их совокупности не складывалась вся композиция; тогда изразец снова обжигали, и он приобретал металлический блеск. Таким путем изображение женщины, готовой заплакать, с печальным лицом и тонкими восточными чертами попадет в серийное производство, будет выпущено в большом количестве и найдет себе место в десятках домов Каталонии, даже и всей Испании.

Вечером Далмау ходил повидаться с Эммой. Снова слезы. Вопросы без ответа. По дороге домой Далмау сделал крюк и прошел мимо тюрьмы «Амалия», темной громады, откуда, разрывая тишину, время от времени доносился жалобный крик. У Далмау волосы встали дыбом, и он поспешил уйти. Зловоние улиц Равалья, шатающийся там сброд, теперь расцвеченный приличной публикой, среди которой было много молодых людей, пришедших сюда в поисках секса и забав, не оказало на него такого впечатления, как утром. Душа Далмау, его ощущения и страхи остались у дверей тюрьмы. Что, если какой-то из тех воплей вырвался из горла его сестры?

Мать он нашел у швейной машинки; она просто прикована к проклятому механизму, подумал про себя Далмау, но на этот раз это его обрадовало, поскольку беседа свелась к сообщениям об отсутствии новостей, а потом Хосефа предалась шитью, как будто из-за последних событий не успевала подготовить вещи для посредника. Далмау поцеловал ее, попросил пораньше лечь, та в ответ горько рассмеялась. Сам он никак не мог заснуть. Время от времени впадал в беспокойную дремоту.

Едва рассвело, пошел к Томасу, разбудил его. Тот ничего не знал. Что он мог узнать, если не прошло еще и суток? От адвоката тоже никаких вестей. Далмау снова прошел мимо тюрьмы «Амалия», увидел ту же толпу, что и накануне. Продолжил путь на фабрику, но в столовую заходить не стал, зная, что Эмма кинется расспрашивать, а ему нечего отвечать. Все-таки, пройдя два квартала, одумался и вернулся. Эмма настаивала, хотела знать; под глазами,

покрасневшими от слез, залегли глубокие тени. Далмау поцеловал ее. Разве она не понимает, что и у него нет никаких новостей? Снова поцеловал ее, потом пришлось чуть ли не вырывать из ее объятий, так девушка вцепилась в него. Он работал над проходными набросками на цветочные мотивы: листья аканта и переплетенные ирисы. Из дома со швейной машинкой – к столовой, оттуда на фабрику, все время мимо тюрьмы, и так день за днем... Он укладывал маму спать и следил, чтобы она ела; целовал Эмму. Они попытались заняться любовью, но это было ошибкой. Между ними установилось молчание. Молчание день за днем, слишком много дней. Далмау узнал, что военный судья не торопится, так сказал Томас, а ему сообщил Хосе Мария Фустер. Монсеррат даже еще не допросили, единственное заявление она сделала в военной казарме, куда ее доставили после задержания на фабрике. Дело затягивалось. Далмау сказал брату, что снова хочет свидания; от Эммы он это скрыл.

Ночные крики, толпы по утрам, скученность, убожество и насилие, царящие, по общему мнению, в тюрьме «Амалия», – все это настроило Далмау так, что он ожидал встретить ту же самую Монсеррат, к которой тот же надзиратель за ту же плату, две песеты с небольшим, привел его в комнатку со столом и стульями, упертыми в стены. Сказал, что у них есть несколько минут, не уточнив сколько, как и в первый раз. Все было таким же: адвокат, тюрьма, мзда, комнатка, надзиратель... Только не Монсеррат. На этот раз она сразу кинулась в объятия брата и уже не порывалась высвободиться. Плакала надсадно. Далмау заметил, как она исхудала за какие-то десять дней заключения. Платье было измято, порвано во многих местах, от него скверно пахло застарелым потом и... Уточнять, чем еще, Далмау не захотел. Он пытался утешить сестру, нежно прижав ее к себе и тихонько раскачивая.

– Успокойся. Все будет хорошо. – (Она не произносила ни слова.) – Как ты тут? Как с тобой обращаются? – (Монсеррат молчала, только всхлипывала.) – Мама и Эмма здоровы... Переживают, конечно. Мама все шьет и шьет, да ты ее знаешь. Передают тебе привет, много поцелуев; желают не падать духом. Люди спрашивают о тебе, интересуются. – Так и было. Подружки то и дело заходили домой к Монсеррат справиться о ней, или в столовую, расспросить Эмму. – Все на твоей стороне, готовы свидетельствовать на суде в твою пользу... – добавил он, хотя Фустер уверял, что никто не придет, невзирая на обещания: страх перед репрессиями сильней, нежели верность делу. – Тебя считают героиней, – заключил он, чтобы ее подбодрить.

Далмау все говорил, а Монсеррат плакала, прижавшись к нему, будто не хотела, чтобы брат ее видел. Темы, которые, по его мнению, могли интересовать сестру, иссякали. Говорить о политике или о праздниках – последнее дело, но и подступающее молчание ужасало его.

– Не знаю, что делать с мамой. Прямо прилипла к швейной машинке. На улицу выходит, только чтобы купить еды, отдать готовую работу и получить новую, – соврал Далмау, пытаясь привлечь внимание Монсеррат. Мать в самом деле была прикована к швейной машинке, как и все швеи Барселоны, однако и не отказывалась от кратких минут отдыха и развлечений, охотно спускалась в таверну на первом этаже выпить стаканчик вина и поболтать с соседкой. – Не дает себе передышки, даже не встречается с подругами, как раньше.

– Далмау... – вдруг перебила его Монсеррат. Несколько секунд прошло, прежде чем она заговорила снова. – Вытащите меня отсюда. Они прикончат меня. Я это знаю. Чувствую.

– Что ты такое говоришь?

– Мне страшно! – взвыла Монсеррат, крепче обнимая брата, пряча лицо на его груди. – Меня колотят. Отнимают еду. Издеваются, и... – Она осеклась, не желая продолжать. – Вытащите меня отсюда, прошу, ради всего, что вам дорого. Мне страшно! Я не в силах заснуть!

Далмау поднял глаза к потолку: облупившаяся штукатурка, сгнившие стропила. Убожество.

– Тебя изнасиловали? – услышал он свой вопрос как бы со стороны.

Монсеррат не ответила.

– Помоги мне! Пожалуйста, – вместо этого взмолилась она.

– Кто это был? – допытывался Далмау голосом, звенящим от гнева.

– Их было много, – зарыдала Монсеррат. – Здесь заключенных продают дешевле, чем спрашивают старые шлюхи на панели.

Далмау лишился дара речи, все внутри сжалось, в горле застрял комок; юноша крепился, пока сестра была рядом и когда надзиратель их выпроводил из комнаты. Даже смог поцеловать ее на прощание и шепнуть, уже дрожащим голосом, что он ее отсюда вытащит. Слезы потекли, когда он пролезал под перекладиной у входа, а на улице, в двух шагах от тюрьмы, его вырвало.

Ноги у него дрожали. Сестру изнасиловали! Она не отрицала. Молодая, красивая девушка восемнадцати лет проводит дни и ночи в логове пропащих. Ей не полагается даже одиночной камеры, где она сидела бы под замком и в каком-то смысле под защитой. Не хватает места. Тюрьмы переполнены. Как легко было взять ее силой! Его снова вырвало при одной мысли об этом, но уже только желчью. Он обнаружил, что идет домой, и остановился перед входом. Мать почует неладное, взглянув на его лицо. Он свернул на площадь Каталонии. Ноги подкашивались, он содрогался всем телом, воображая, как Монсеррат... Прогнав эти мысли, сел в конку на низких колесах и с огромной рекламой пива, водруженной на крыше. Старомодный экипаж, который волокли два мула, вмещал пятнадцать человек и ходил по маршруту от этой площади до квартала Грасия. Оттуда, подумал Далмау, он легко доберется до фабрики.

Далмау заплатил пять сентимо за проезд и устроился среди простого люда, которому было не по карману ездить на электрическом трамвае, где цена за билет кусалась; ходил он по тому же маршруту, от порта; его-то и опрокинули Монсеррат и Эмма. Трамваев на конной тяге в Барселоне уже оставалось мало, за последние три года подавляющее их большинство заменили электрическими. Запряжные составы, как этот, идущий с Ла-Каталана, долго добирались до конечной остановки, ходили редко, двигались медленно, и люди вскакивали и выскакивали где хотели, что в электрических трамваях было запрещено. Далмау как-то даже успокоился, когда кучер дернул поводья, экипаж встряхнуло, и мулы неспешным шагом потащились вверх по Пасео-де-Грасия.

Он должен вызволить Монсеррат из тюрьмы. Этим самым утром, когда Хосе Мария Фустер сопровождал его, чтобы подкупить надзирателя, всякая надежда на то, что суд над сестрой состоится в обозримое время, развеялась прахом.

– Даже судьи нету, – сообщил адвокат. – Прежнего перевели в Мадрид, а взамен никого не назначили. Твоя сестра долго пробудет в предварительном заключении.

– Судья только один? – изумился Далмау.

Адвокат пожал плечами:

– Похоже на то. В этой стране армия – просто курам на смех, особенно после поражения в Кубинской войне.

Вызволить Монсеррат из тюрьмы до суда невозможно. Сидя между мужчиной, видимо плотником, судя по обилию опилок на одежде, и женщиной, которая везла в корзине пару живых кур, пока мулы так медленно тащили вагон, что, казалось, он вот-вот остановится, Далмау вдруг понял – только один из его знакомых в силах им помочь: учитель. Дон Мануэль – заметная фигура, у него влиятельные друзья среди монархистов, церковников и, разумеется, военных. Далмау знал, что учитель тесно общался с епископом Моргадесом, который умер в январе, но подружился и с его преемником, епископом Касаньясом, для которого предназначалась картина с молящимися прихожанками. Известны были и его приятельские отношения с генерал-капитаном: тот всегда приглашал дону Мануэля на свои приемы, да и в частной жизни они пересекались, на ужинах и торжествах. Далмау слышал об этом от самого учителя.

Тут ему захотелось, чтобы мулы встряхнулись и побежали резвее, но он, сидя между плотником и теткой с курами, вытерпел до проспекта Диагональ, который конка пересекала, направляясь к кварталу Грасия; распрощался с пассажирами и выпрыгнул из вагона, не дожидаясь остановки. Бодро зашагал по Диагональ, направляясь к фабрике изразцов и облумывая

по дороге, как заговорить на эту тему с учителем. Ни один вариант не подходил. Монсеррат – анархистка, а революционеры – заклятые враги каждого уважающего себя буржуа, располагающего деньгами. Но ведь она – сестра Далмау... Что окажется для дона Мануэля важнее, куда склонится чаша весов?

– Это безумие! – вопил учитель.

Далмау выслушивал эти крики, стоя перед столом в кабинете-мастерской дона Мануэля, в одной руке комкая шапочку, а вторую заведя за спину. За исключением административных документов, разбросанных по столу из резного дерева, в комнате не было ничего, кроме огромного количества работ дона Мануэля, и этот художественный беспорядок был бы приятен глазу, если бы не лишённые света тона, излюбленные учителем; были там изразцы, имевшие наибольший успех, или включённые великими архитекторами модерна в декор их зданий; розетки, рельефные изразцы, масса набросков и картины, множество картин, иные его кисти, другие – полученные в дар от друзей или попросту приобретенные.

Учитель вскочил с места.

– Такого не может быть! – снова заорал он. – Это неприемлемо!

Какие-то бумаги упали на пол, но дон Мануэль не обратил на это внимания. Далмау наклонился, подобрал их, разложил, как мог, на столе, понимая, что сейчас не лучшее время заводить разговор о сестре, о Монсеррат. Он зашел в кабинет к учителю, собираясь это сделать, но дон Мануэль начал разглагольствовать о политике и под конец совсем разошелся. В последние дни Далмау слышал, как продавцы газет кричали на улицах об этом деле, но не особо вникал, неотступно думая о Монсеррат, матери и Эмме.

Речь шла о прошедших несколько дней назад выборах депутатов в мадридские кортесы. Далмау голосовать не ходил. Как уже вошло в обычай во всей Испании, в том числе в Барселоне, городе, где голосовали тысячи мертвых душ, правящая верхушка, дабы обуздать выборы, прибегла к фальсификации ради победы монархической партии, которая защищала короля Альфонса XIII и его мать, королеву Кристину, регентшу при несовершеннолетнем сыне. Но монархисты не учли яростного сопротивления одного политика, республиканца, революционера, недавно прибывшего в графскую столицу, Алехандро Лерруса, который поднимал рабочих на борьбу своими пламенными речами. Леррус заявил о подлоге перед тысячами своих приверженцев; предупредил мадридское правительство, что такие действия со стороны касиков-монархистов в Барселоне и других каталонских городах пробуждают стремление к автономии, чего боялись в центре, и, наконец, поставил свою жизнь на карту: «депутатский мандат или смерть», провозгласил он под ликующие крики тысяч людей, которые его слушали.

Монархисты уступили, и начался пересчет голосов во Дворце депутатов, в зале Святого Георгия, битком набитом наблюдателями; большинство из них не сдвинулись с места за все пятнадцать часов, пока длилась процедура. Многие перекусывали там же, некоторые мочились под себя, чтобы не потерять свой стул. Леррус все время сидел прямо напротив председателя Избирательной хунты. Вместо пяти монархистов и двух регионалистов, избранных по подложным бюллетеням, после пересчета голосов прошли четыре регионалиста, два республиканца – Леррус получил-таки свой мандат – и только один монархист.

Впервые после реставрации Бурбонов рабочее движение в Испании вышло на политическую арену. До выборов 1901 года трудящиеся, неимущие были всего лишь статистами в игре, которую вели касики. Рабочие устраивали манифестации, случались стычки, более или менее яростные, объявлялись забастовки, террористы взрывали бомбы, но для правительства и властной верхушки все это означало лишь помехи, которые устранялись тем или иным способом. Леррус, отстояв два места в мадридских кортесах, открывал рабочим путь в политику, приглашал к участию в общественной жизни.

– Эти республиканцы, которые едут в Мадрид представлять Барселону, устроили манифестацию против Церкви! – возмутился учитель, воздевая руки, протягивая их к Далмау так, будто произошедшее находится за гранью его понимания.

Далмау опустил голову, уставился в пол. Он участвовал в той манифестации вместе с Монсеррат и Эммой. Около десяти тысяч человек на арене для боя быков в Барселонете требовали свободы совести, роспуска монашеских орденов, светского образования и отделения церкви от государства. «Больше никаких субсидий!», «Пусть берут плату за причастие!» – кричала толпа.

– Что станет со страной в руках антиклерикалов? – вопил в свою очередь дон Мануэль.

Далмау тяжело вздохнул. Учитель повернулся к нему:

– Что-то случилось, сынок?

Какая разница, когда он скажет, сегодня или завтра? Дон Мануэль так или иначе ненавидит революционеров.

– Арестовали мою сестру Монсеррат.

Теперь и дон Мануэль издал вздох. Тяжело, будто на него опустился небесный свод, рухнул в кресло, пригладил усы в том месте, где они соединялись с бакенбардами.

– На каком основании?

Если просить его о помощи, рано или поздно он все равно узнает, рассудил Далмау.

– Она набросилась на солдата, – сказал он. Дон Мануэль развел руками, дожидаясь объяснений. – Она призывала к забастовке фабричных рабочих, а солдаты удерживали ее.

– Мало ей было нарушать общественный порядок во время военного положения, она еще и набросилась на солдата.

– Укусила его, – уточнил Далмау. Учитель кивнул, прикрыв глаза. – Царапалась, пинала ногами.

Дон Мануэль продолжал кивать, будто все это видел въяве. Тут какой-то служащий просунул голову в дверь, которую не закрыл за собой Далмау, одновременно постучав по притолке, будто извиняясь за вторжение.

– Что такое? – спросил учитель.

– Прибыл экипаж, дон Мануэль. Ждет во дворе.

– А, – вспомнил тот. – Сейчас иду. – Он смерил Далмау взглядом. – И ты хочешь, чтобы я ей помог.

– Да.

– Почему я должен это делать? Она... анархистка?

Далмау не пошевелился, не сказал ни слова.

– Анархистка, да, – заключил дон Мануэль. – Анархистка, которая призывает к забастовке и дерется с солдатами, исполняющими свой долг. Революционерка, стремящаяся подорвать...

– Она – моя сестра, – перебил его Далмау.

Дон Мануэль прищелкнул языком, уставился на одну из картин, какие во множестве висели на стенах мастерской, и стал приглаживать бакенбарды и усы.

– Я не должен вмешиваться, – заявил он наконец, вставая и направляясь к двери. – Мне жаль, сынок. Поеду домой, – продолжал он. – Меня раздражает то, что творится вокруг. Невозможно работать в такой обстановке.

Далмау двинулся ему наперерез. Учитель заметил это и остановился сам.

– Умоляю вас, дон Мануэль. Она в тюрьме «Амалия». Все знают, каково там приходится заключенным. Ее изнасиловали! – Голос Далмау задрожал. Учитель отвел взгляд. – Не верю, чтобы девушка восемнадцати лет, будь она даже анархисткой, заслуживала такой участи. Если она не выйдет из этого логова бандитов, ее убьют. Ей всего восемнадцать лет, – подчеркнул он. – Дон Мануэль, не судите о ней исходя из ее ошибок.

– Ошибок? – тотчас же подхватил учитель. – То есть ты полагаешь, что твоя сестра заблуждалась, призывая к забастовке, нападая на солдата?

– Да... – соврал Далмау.

– И что ты сделал, чтобы помешать ей? – Далмау заколебался. Учитель воспользовался этой нерешимостью. – Если бы ты принял меры, этого бы не случилось.

– Дон Мануэль, – перебил его Далмау. – Я признаю свою вину. Правда, я целиком погружен в работу, вы это знаете, как никто другой. – Он взглянул учителю в лицо, и тот выдержал взгляд. – В самом деле, после смерти отца я не уделял должного внимания младшей сестре. Что верно, то верно. Но ведь ее изнасиловали, ее бьют, измываются над ней. Разве она недостаточно наказана?

– Не знаю, сынок, не знаю. Мету наказания определяет Всевышний. Не знаю. – Он сделал шаг к двери. – Идем со мной. Пообедаешь у меня. Будь ты одет попримечнее... – снова взялся он за свои сетования. – Теперь она еще и в заплатах, твоя неубиваемая блуза! – добавил он, указывая на то место, из которого в вестибюле тюрьмы вырвали длинный клочок и которое мать зашила.

В тот день явился и преподобный Жазинт, монах-пиарист, который преподавал в Благочестивой школе Святого Антония, коллеже, расположенном на той же улице, что и тюрьма Ронда-де-Сан-Пау, только чуть выше, почти у самого рынка, а значит, поблизости от «Ка Бертран», столовой, где работала Эмма. Был он лет тридцати, культурный и вежливый, крайне рассудительный и донельзя осторожный. Далмау не знал, что его связывает с доном Мануэлем, но часто встречал его в том доме. Они с Жазинтом не раз разговаривали об искусстве, о живописи, о рисунке... Монах, заключил Далмау, всегда выбирал темы, близкие собеседнику, никогда не пытался привлечь его к Церкви или начать проповедовать христианство. Похоже, уважал его атеистические взгляды, с чем не соглашались Эмма и его сестра, когда Далмау заводил речь о преподобном. «Такие хуже всех, – заявляла Монсеррат. – Прикидываются, будто им без разницы, а сами мало-помалу тебя завлекают. Осторожнее с ним», – предостерегала она, будто Далмау искушал сам дьявол.

Так или иначе, этим утром Далмау не успел даже поздороваться с преподобным. Едва они столкнулись с Жазинтом в гостиной, как дон Мануэль схватил его за руку и потащил в кабинет, что-то нашептывая на ухо. А Далмау остался стоять в зале, полном мебели, ковров и гобеленов, статуэток и картин, с огромной хрустальной люстрой на потолке, и донья Селия с ее двумя дочерьми разглядывали его. Даже малыш, почувствовав напряженное молчание, отложил игрушку, которой забавлялся, и обратил взгляд на Далмау. Урсула встретила его той же, что и всегда, будоражащей полуулыбкой, которая стерлась с ее лица, как только мать повернулась к ней и ее сестре, чопорно ответив на приветствие Далмау.

Служанка, открывшая дверь, исчезла; женщины не обращали на него внимания: мать погрузилась в книгу, сестры занялись рукоделием, хотя Урсула украдкой бросила на него еще один взгляд. Дон Мануэль и преподобный Жазинт затворились в кабинете. Далмау спросил себя, не пройти ли ему на кухню. Учитель не дал указаний, но это было в порядке вещей: с такими манерами и таким костюмом ему не место среди богачей, улыбнулся про себя Далмау. Он вдруг осознал, что ни разу не сидел на одном из диванов, что стояли перед огромными окнами, выходящими на Пасео-де-Грасия, даже не имел случая подойти поближе и посмотреть, как гуляет чистая публика; полюбоваться зрелищем пышного города из эркера, который выступал вперед и нависал над проспектом; юноша бывал только на кухне или в мастерской.

Донья Селия подняла взгляд от книги и оглядела его с возмущением, сквозящим в каждой черте, будто бы Далмау нарушал покой и уединение ее и детей, потом зазвонила в хрустальный колокольчик с такой силой, что чуть не разбила вещицу.

– Отведи его на кухню, – велела поспешно явившейся служанке.

Далмау попросался легким кивком и последовал за девушкой.

– Привет, Анна, – поздоровался он с кухаркой, которая хлопотала вокруг нескольких железных плит.

Та повернула голову, обвела глазами кухню. Никого: ни сеньоры, ни ее дочерей, ни служанки, которая могла бы насплетничать донье Селии о ее симпатии к юнцу, который не желает хорошо одеваться, чтобы не садиться за стол с господами. Она разулыбалась. У нее не хватало зубов, и все же улыбка прекрасно смотрелась на ее лице, полном, румянком от жара и пара, исходящих от кастрюль. Она любила кормить тех, кто приходил к ней на кухню.

– Садись! – велела повариха. – На первое фасоль с картофелем и цветной капустой; на второе курица с тушеными овощами. Но все это нужно еще приготовить, сегодня вы слишком рано.

– Хорошо звучит, – кивнул Далмау, хотя несчастье с сестрой и лишило его аппетита.

Он присел к кухонному столу из некрашеного дерева, вынул уголек и альбом для эскизов, которые всегда носил в одном из карманов блузы, и принялся рисовать.

– А на сладкое – флан, – добавила Анна, налила ему стакан вина, красного, густого, которое она использовала для готовки, а потом вернулась к плите.

Несколько минут оба молчали, Далмау рисовал, а кухарка поглядывала, как на медленном огне тушатся перцы и баклажаны, идущие гарниром к курице, и одновременно на разделочной доске рубила эту самую курицу на куски сильными, точными ударами кухонного топорика.

– Что ты делаешь? – спросил Далмау, услышав шкворчание, но не поднимая глаз.

– Курицу обжариваю, – ответила кухарка. – А ты?

«Стараюсь не потерять терпения», – подумал Далмау, который пачкал один за другим листы альбома, ожидая, какое решение примет дон Мануэль по поводу его сестры.

– Рисую, – ответил он на вопрос Анны.

– Рисуешь что? – допытывалась та, стоя к нему спиной.

– Курицу, баклажаны, перцы...

Кухарка оторвалась от блюд, повернулась и мотнула головой: покажи, мол, рисунки. Далмау показал четыре линии, какие провел на листе.

– Вечно ты дуришь мне голову, – посетовала она.

– Так не давайте дурить себе голову, Анна. Не давайте дурить себе голову.

Оба развернулись к двери: там стояла Урсула, старшая дочь учителя; она и произнесла эти слова.

– Простите, сеньорита. – Анна поспешно вернулась к плите и к курице, которая продолжала жариться.

– Что за рисунок вы тут смотрели? – спросила девушка, направляясь к Далмау.

Вместо Анны ответил Далмау.

– Ничего особенного, – сказал он, порвал листок на клочки, скомкал и спрятал в кармане. Урсула невозмутимо следила за его действиями.

– Далмау, – сказала она с издевкой, – идем со мной. Отец хочет видеть тебя.

Он сорвался с места, бросился следом. Сестра, изнасилованная в тюрьме, отказ учителя... все это снова нахлынуло на него.

Урсула закрыла дверь, как только он, погруженный в мысли о Монсеррат, следом за ней вошел в комнату. Лишь через несколько секунд его глаза привыкли к скудному свету, проникавшему со двора, куда выходило окошко, и юноша понял, что это кладовка, куда складывают горшки, швабры, ведра и прочие предметы, предназначенные для уборки.

– Что мы тут делаем? – спросил он. – Ведь ты сказала, что твой отец хочет видеть меня?

– Захочет, если я не помешаю, – отвечала Урсула. Далмау вытянул шею и потряс головой в знак крайнего изумления. – Да, – усмирила его Урсула, – я подслушала, о чем говорил отец с преподобным Жазинтом... Знаю, что твоя сестра в тюрьме, – выпалила она, видя, что Далмау что-то хочет сказать.

– И что? – Теперь Далмау с нетерпением ждал, что она скажет дальше.

– Отец всегда потакает моим капризам, сам знаешь. Он мог бы походить за твою сестру; кажется, ее зовут Монсеррат? Моя ровесница. Ужасно, что ее изнасиловали. Но главное, подумай вот о чем: если я настрою маму так, что она воспротивится, отец и пальцем не пошевелит.

– И чего ты попросишь взамен?

– Немногого, – лукаво проговорила девушка, подошла к Далмау и прижалась губами к его губам. – Совсем немногого, – повторила, отстраняясь, чтобы увидеть его реакцию.

– Не думаю, что таким образом... – пытался возразить Далмау, стараясь обойти ее и обратиться из кладовки.

– Богом клянусь, если ты не сделаешь, как я скажу, твоя сестра сгниет в тюрьме!

Далмау увидел в Урсуле те же жесткие, угрожающие черты, что у доньи Селии. Она поклялась Богом! Это в устах дочери дон Мануэля, который за божбу и богохульство наказывал рабочих вплоть до увольнения, напугало его даже больше, чем холодный взгляд, с которым девушка ждала, на что он решится.

– Это нехорошо, – пытался убедить ее Далмау. – Ваш Бог... – хотел он продолжать, но она, уверенная в том, что парень уступит, взяла его руку и положила себе на грудь поверх платья. Вздохнула. – Иисус Христос... – пытался вразумить ее Далмау. Урсула поцеловала его, на этот раз крепко, со страстью, но даже не пытаясь просунуть язык. – Иисус Христос учил... – продолжал Далмау, воспользовавшись тем, что она оторвалась от его губ, чтобы набрать в грудь воздух. Что мог он сказать об Иисусе Христе, почему ему знать, чему он учил! – Это нехорошо, – вновь проговорил он.

Урсула взяла руку Далмау и заставила его сжимать и сминать ей грудь, а другую сунула себе между ног, поверх платья, нижних юбок и прочих преград, стоящих на страже ее добродетели. Девушка вздохнула. Потом сняла свою руку с руки Далмау, которой давила на свой лобок, и положила на его возбужденный член. Сначала прощупала через штаны, а потом, задыхаясь, чуть ли не в истерике, сунула руку внутрь, схватила пенис как церковную свечу и стиснула. Задрожала всем телом. Далмау ждал следующего шага, но его не последовало. Урсула прикусила нижнюю губу, снова поцеловала его, по-прежнему не раскрывая рта, крепко вцепившись в его член, а его заставляя тискать свою грудь через платье и время от времени надавливать на лобок; в какой-то момент он ощутил там, внизу, сладострастную дрожь, которую девушка и не пыталась скрыть.

Так прошло несколько минут, которые Далмау показались вечностью: она вздыхала и целовала его, жесткая, как истукан; а он жадно ловил малейшие звуки, какие слышались в доме. Наверное, Урсула могла бы добиться, чтобы ее отец помог, но, если их здесь застукают, дон Мануэль с супругой его не пощадят, это уж точно.

Беспокойство по этому поводу, скованность Урсулы, да и боль, которую причиняла ее рука, сжимавшая пенис, привели к тому, что возбуждение начало спадать. Урсула надавила, потом отпустила, еще и еще раз, будто пыталась оживить его этими почти яростными прикосновениями.

– Ай! – вскрикнул от боли Далмау. – Ты мне его раздавишь.

Урсула прекратила попытки.

– И все? Все уже кончилось? – наивно осведомилась она, вынимая руку из штанов Далмау и отстраняясь, чтобы и он перестал ее трогать. – И это все? – допытывалась она, одергивая платье.

Далмау не представлял, как объяснить этой девушке, воспитанной в строгости, в страхе Божьем перед грехом, что значит заниматься любовью, ласкать друг друга, искать наслаждения, а не только наступления оргазма. Она бросилась к нему, страстно желая найти и испытать запретное удовольствие; по всей вероятности, в первый раз прикоснулась к мужскому члену,

но Далмау боялся, что чем пространнее будут объяснения, тем сильнее разгорится желание и тем больше потребует от него Урсула за освобождение сестры.

– Все, все, все... да нет, не все, – ответил он, не желая врать.

– Что еще делают? – не отставала Урсула.

– Хочешь знать? Раздевайся, – велел Далмау.

– Еще чего! Нахал! Раздеваться перед тобой?

Она изобразила рукой презрительный жест.

– В таком случае, – прервал ее Далмау, – вот тебе мой совет: придется подождать; ты узнаешь, что еще делают, когда встретишь особого мужчину, перед которым тебе будет не стыдно раздеться.

Урсула задумалась на несколько мгновений.

– Не думаю, чтобы я когда-нибудь встретила такого особого мужчину, – призналась она. – Родители выдадут меня замуж, когда найдут подходящую партию. И если мой будущий муж будет таким же благочестивым, как они, а это скорее всего, то сомневаюсь, чтобы он попросил меня раздеться.

– Тогда разденься сама, не дожидаясь, когда он попросит.

– Нет уж...

Шум в коридоре насторожил их.

– Сеньорита Урсула?

Ее искала служанка.

– Я здесь, – отозвалась девушка, открывая дверь и хватая какую-то тряпку.

Она вышла в коридор, оставив дверь полуоткрытой.

– Ах, – воскликнула девушка в черном платье, которое было ей велико, в чепце и белом переднике. – Сеньора ваша матушка спрашивает о вас. Хотите, я вам помогу? – добавила она, показывая на тряпку.

– Не надо, – оборвала ее Урсула. – Я сама. Иди работай. Живо! – поторопила она служанку, которая стояла в нерешимости. – Можешь возвращаться на кухню, – бросила она Далмау.

– А моя сестра? – спросил он, выходя из кладовки.

– Не волнуйся. Отец вытащит ее из тюрьмы, даю слово. Только не знаю, чего он у вас попросит взамен.

«Что мы можем ему предложить?» – подумал Далмау с грустной улыбкой.

– Хотя могу вообразить, – припечатала Урсула, забросила тряпку в кладовку, повернулась спиной к Далмау и направилась в гостиную.

– При заданной стороне построить правильный шестиугольник.

То было условие задачи, которую Далмау излагал в аудитории, предназначенной для трехклассников в барселонском коллеже пиаристов Святого Антония; однако сейчас, вечером, в ней сидели с полдюжины молодых рабочих.

– Если L – заданная сторона, – объяснял он, – и нужно построить равнобедренный треугольник...

Зная, что парни внимательно его слушают, Далмау вычерчивал шестиугольник, описывая окружность с центром в вершине равнобедренного треугольника в тишине, которую нарушал только скрип мела по доске. Они пришли учиться рисунку, для чего требовались базовые знания по математике и геометрии. Построив многоугольник, Далмау оглядел их. Двое, как и он, работали над керамикой. Еще один занимался резьбой по дереву, а остальные трудились в текстильной промышленности, как большинство рабочих, посещавших вечерние занятия в коллеже пиаристов, хотя некоторые выдували стекло, занимались гравировкой, ткали ковры и гобелены – словом, владели таким ремеслом, какое требовало умения хотя бы провести пря-

мую линию. Шестеро, которым преподавал Далмау, были моложе его, от пятнадцати до семнадцати лет, и старались не хуже взрослых извлечь пользу из уроков, которые устраивали пиаристы без всякой платы: умение рисовать могло позволить им продвинуться в профессии.

Прикладное искусство в промышленности – и рисунок как подходящее орудие, чтобы овладеть им. Если в большинстве европейских стран интерес к промышленному дизайну и его развитие относятся к середине XIX века, то в Каталонии, как и в других передовых областях, набивные ситцы с рисунком появились уже во второй половине XVIII века; тогда же промышленные компании завели бесплатные школы рисунка для своих сотрудников. Ремесленник старых времен исчезал, и промышленности, шедшей ему на смену, необходимо было создавать вещи не только полезные, но и красивые.

– Есть вопросы? – обратился Далмау к ученикам. Руки не поднял никто. – Хорошо, попробуйте сделать это у себя в тетрадах.

Он прошел по аудитории, проверяя, все ли усвоили задачу. Вот какую цену лично от него потребовал учитель за освобождение Монсеррат. «Дон Мануэль сделает все возможное, чтобы выволить твою сестру из тюрьмы», – сообщил преподобный Жазинт через пару часов после того, как Урсула показала себя юной развратницей. Хозяйева дома к тому времени уже поели, и Далмау отдавал должное вкуснейшей курице с тушеными овощами, которую приготовила Анна. После слов священника он еще ярче ощутил во рту вкус помидоров, перцев и баклажанов. Резко выдохнул, словно исторгая из себя тревогу, и сделал добрый глоток вина. Только потом сказал:

– Спасибо.

– Мне стоило труда убедить его, – добавил тем не менее священник, присаживаясь к некрашеному кухонному столу. Преподобный Жазинт сделал кухарке знак, чтобы та их оставила одних, и продолжил: – Дон Мануэль никогда бы не вступился за отъявленную анархистку. Это ты понимаешь, верно? – (Далмау кивнул, отодвинув тарелку; он глаз не сводил с преподобного, ведь сейчас тот заговорит о цене, которую сулила Урсула и которую Далмау готов был заплатить, какой бы она ни была.) – Мы его убедили. Урсула со слезами расписывала, каково приходится девушке в суровой, убогой обстановке исправительного заведения. Даже донью Селию проняло, когда она узнала, что твою сестру изнасиловали. В конце концов дон Мануэль уступил; он сделает все, что в его силах, а это немало, – подчеркнул священник, чтобы ободрить Далмау, – чтобы твою сестру освободили и оправдали или, в крайнем случае, приговорили к минимальному наказанию и ей не пришлось бы возвращаться в тюрьму.

Расхаживая по аудитории коллега Святого Антония, Далмау то и дело одергивал пиджак, который он теперь носил и который стеснял его. Пришлось отложить в дальний угол заплатанную бежевую блузу, это тоже входило в цену вместе с уроками рисунка, которые он давал дважды в неделю, с восьми до девяти вечера. Преподобный Жазинт воспользовался этим, чтобы отделить молодых ребят от взрослых. К тому же такое решение сводило на нет отговорки, к которым прибег Далмау, когда ему предложили давать уроки. «Я совсем не могу говорить на публике, – удивил он всех, – очень нервничаю, у меня дрожит голос и к горлу подкатывает комок...» Учить шестерых парнишек, с которыми он сживал за одной партой, – не то что вещать перед классом из тридцати взрослых, поэтому после некоторого замешательства Далмау преодолел страх сцены и даже чувствовал удовлетворение оттого, что в силах чем-то помочь рабочим.

– Ты сам понимаешь, – продолжал священник, – что дон Мануэль не станет ничего предпринимать, если не получит от вас твердого и чистосердечного обещания изменить и исправить ваши идеалы и верования. Вы должны приблизиться к Господу и отречься от атеизма. Ты и твоя сестра оставите анархизм и прочую революционную деятельность, направленную против порядка, в рамках которого живут и процветают в нашем обществе люди доброй воли. Вам придется изучать катехизис и добиться в этом успеха. Ты будешь заниматься у пиаристов, со

мною; твоя сестра – в монастыре Доброго Пастыря. Дон Мануэль и донья Селия тесно связаны с приютом для девушек Травессера-де-Грасия.

Далмау пообещал. Сестра? Конечно, она все сделает. С благодарностью, уверил он преподающего и самого дона Мануэля, прекрасно зная, однако, какую позицию займет Монсеррат.

– И с какой стати этот святоша пошевелит для меня хотя бы пальцем? – спросила она в той зловонной каморке, куда вмещался только стол и стулья, упирающиеся в стену. – Даже не знаю, Далмау. Мы всегда боролись против них. Где же наши принципы?

– Ты должна выйти отсюда, – настаивал Далмау. – Тебя... тебя насилуют. Это просто уроки катехизиса.

– Катехизиса! – возопила Монсеррат. – Слушай, Далмау: за эти несколько дней они овладели моим телом и несколько... много раз порвали в клочья мою добродетель, будто голодные псы. – Голос у нее прервался, подбородок задрожал. Глубоко вздохнув, она продолжала: – За пару дней ничего не осталось от этих их буржуазных добродетелей: скромности, чести, целомудрия. Хочешь, скажу, чем мне поможет катехизис? Сам знаешь: заставит сильнее почувствовать вину, вину грешной женщины; вот как они назовут меня: грешницей! Никакой священник не вернет мне то, что у меня отняли, и не утишит боль; но мои принципы остались нерушимыми. Те самые козлы, те самые сукины дети, такие, как твой учитель, бросили меня туда: они нас эксплуатируют, они нас угнетают, они принижают в нас человеческое достоинство. Что останется от меня, если, отдав тело четверке преступников, я продам свою душу Церкви?

Гневные речи Монсеррат звенели в тесной каморке, эхом отдавались от стен. Сестра приналась, что ее насильовали одни и те же злодеи. Далмау вдруг весь как-то обмяк; он больше не слушал инвектив сестры, а пристально вглядывался в нее: она была грязная, еще грязнее, чем прежде. От нее скверно пахло, хуже, чем в прошлый раз, и она выглядела жутко истощенной. Мятое платье свисало с исхудавших плеч, лицо опухло, лиловые мешки напозлали на глаза; в этих раньше огромных очах когда-то сверкали жажда знания, надежда, вызов; ныне блуждающий взгляд маленьких, заплывших глазок был полон ненависти.

– Я больше ничего не могу сделать, – отрешенно прервал ее Далмау. – Это единственный способ.

Брат и сестра несколько секунд молчали.

– И, если не считать моего обращения, чего он никогда не добьется, с какой стати заботится об анархистке этот... мерзкий, отвратительный буржуй? – снова спросила Монсеррат.

– Ради меня, – коротко ответил Далмау. – Ты моя сестра, а он меня ценит. Или, не знаю, нуждается во мне, это не важно. Я хочу одного: чтобы ты вышла отсюда.

Монсеррат сжала пересохшие губы и покачала головой:

– Прости, брат. Я останусь. Не выйду отсюда такой ценой. Пусть лучше меня насилуют эти ненасытные, пусть лучше я сгину здесь, чем поддамся шантажу буржуа, дерьмового святоши. Уважай мое решение.

«Как она хочет, – сетовал Далмау каждый раз, когда взвешивал в мыслях это ее утверждение, – чтобы я уважал решение, которое приведет ее к смерти? Какую победу одержит Монсеррат, если погибнет в гнусной тюрьме? Кому пойдет на пользу такая огромная жертва?»

Ее освободили. Ее ждал суд, дата которого еще не была назначена, но гарантии, которую дон Мануэль Бельо дал генерал-капитану, оказалось достаточно, чтобы Монсеррат не сочли нужным держать в предварительном заключении.

Едва увидев брата в кабинете, где ей должны были вручить документы, Монсеррат схватила его за руку, отвела в сторонку и прошептала на ухо, правда, чуть громче, чем следовало:

– Как насчет катехизиса? Я говорила тебе, что не собираюсь...

Далмау жестом призвал ее к молчанию.

– Тебе не нужно будет ходить на уроки. Я решил этот вопрос, – заявил он безапелляционным тоном.

– Как? – спросила Монсеррат.

Что за важность, подумал он, как удалось ему этого добиться. Главное, сестра на свободе.

– Я убедил дону Мануэля, – соврал Далмау.

– Святоша уступил? – изумилась Монсеррат.

Далмау кивнул, в то время как все варианты развития событий, какие он прокручивал снова и снова, видя упрямство сестры, разом пришли ему на ум. Ясно, что дон Мануэль взбесится, если Монсеррат не придет на катехизис. То была чуть ли не главная цель в борьбе, открывающей учителю путь на небеса: обратить атеиста. Если он почувет, что его обманули, сестру снова посадят: несколько слов генерал-капитану, и дело сделано. Но рядом с такой реальностью существовала другая, для Далмау куда более насущная: здоровье и жизнь сестры. Нет в мире таких принципов, такой идеологии, чтобы оправдать насилие и издевательства банды преступников, пусть даже Монсеррат и готова была терпеть это дальше. «Вытащи ее оттуда!» – взмолилась Хосефа, когда Далмау обрисовал ей ситуацию. Но мать хоть и умоляла, но не могла придумать, как потом обмануть дону Мануэля, и, когда сын обещал, что вызволит сестру, погрузилась в шитье, полагая возвращение Монсеррат уже свершившимся фактом. Обмануть сестру было просто: она готова была поверить всему, что ей скажут. Но так ли легко будет обмануть дону Мануэля?

– Святоша, – отвечал Далмау, – уступил. Должно быть, для него важнее моя работа на фабрике, чем твое обращение в христианство.

И ее отпустили.

Но если Монсеррат больше не задавала вопросов, они во множестве теснились в голове у Далмау. Все мысли, какие ему приходили на ум, упирались в конфликт с учителем и его, Далмау, более чем вероятное увольнение с фабрики изразцов. Дон Мануэль узнает, что сестра не выполняет условие, прикажет снова арестовать ее, и Далмау будет бороться. Их отношения разладятся: как он сможет работать на человека, способного навредить его любимой сестре? Перед ним вырисовывался только один приемлемый, хотя и сложный, план, к тому же весьма обременительный.

Шли дни, и Далмау выполнял свою часть соглашения: давал уроки рисунка рабочим и ходил беседовать с преподобным Жазинтом о Боге и Его тайнствах. Монсеррат по этому поводу хранила молчание, а Далмау исчерпал уже все доводы, какие приводил в оправдание того, что сестра не является к монахиням Доброго Пастыря: «Она больна», «Она еще не готова», «Она даже не выходит из дому», «Только и делает, что плачет», «Преподобный, она совсем не говорит!». Так раз за разом он выгораживал Монсеррат перед священником.

Тяжело вздохнув, преподобный настоял, чтобы он срочно привел сестру, силой, если понадобится, в противном случае дон Мануэль пойдет на попятный и сделает все, чтобы ее снова посадили.

3

На несколько мгновений Эмма застыла с разинутым ртом, не зная, куда девать наполовину вскинутые руки. Считанные разы она стояла вот так, онемев, не представляя, что ответить, застигнутая врасплох. Наконец она пришла в себя, замахала руками на Далмау.

– Ты с ума сошел? – Далмау, заметила Эмма, скривился и отвел глаза. – Я тебя предупредила: это не сработает, – продолжала она. – Монсеррат никогда не согласится, скорее останется в тюрьме, как бы ее там ни насильовали, чем пойдет к монашкам на уроки катехизиса. Она сама тебе это объявила! И ты решил сказать ей, что ничего не нужно делать, что все устроилось. Ты, наверное, заметил, что я не допытывалась, как ты собирался все устроить, но и вообразить не могла, что ты явишься ко мне с таким... таким предложением!

– Я виноват, – каялся Далмау. – Я виноват, милая, но разве ты не помнишь, что с ней творили в тюрьме? – Он не стал продолжать. Слезы на глазах Эммы показали ему, что – да, она все помнит. – Пожалуйста, не плачь, – глухо взмолился он.

– Не плакать? – всхлипнула Эмма. – Как же мне не плакать?

Эмма увидела, что Далмау подходит, намереваясь ее обнять. Она отошла и повернулась спиной. Потом оба стояли молча и неподвижно на заднем дворе столовой, возможно припоминая одно и то же: утро, когда они вдвоем пошли забирать Монсеррат из тюрьмы. Далмау зашел в здание, а Эмма дожидалась на улице, пока не появились брат с сестрой.

Ее повели домой. Эмма расцеловала подругу, как только та вышла, но Монсеррат лишь слегка приобняла ее. По дороге на улицу Бертрельянс Эмма пыталась ее разговорить. Та пару раз ответила «да» или «нет» таким усталым тоном, будто даже такие скупые реплики выматывают ее.

Хотя он и говорил шепотом, Эмма расслышала, как Далмау предлагает матери отвести сестру в душевые на улице Эскудельерс.

– Там можно дешево помыться.

Хосефа даже не стала его слушать.

– Принесешь воды, – велела она.

Далмау сделал, что просили, и обе женщины закрылись с Монсеррат в комнате, которую делили мать и дочь.

Эмма не могла отвести взгляда, пока Хосефа раздевала дочку, а та безвольно подчинялась, грязная, провонявшая, выбитая из колеи, потерявшая дар речи. Много раз девушки сравнивали свою наготу, игриво кокетничали, влекомые чувственностью, которой наполнилась их красота, молодость, жажда жизни. Сколько времени подруга провела в заточении? Три месяца? Чуть больше?

Эмма отвернулась. Не затем, чтобы не видеть тела, истощенного, покрытого синяками, с грудями, отвисшими, будто за это время они лишились жизненных соков; ей было неловко, стыдно, что Монсеррат видит ее во всем блеске. Чтобы встретить подругу у тюрьмы, она надела лучшее платье, будто шла на праздник, да и выкройку для него принесла с фабрики Монсеррат, а Хосефа потом пошила. «Вот дура!» – выругала Эмма себя. Стоя спиной к подруге и ее матери, она старалась удержать слезы.

– Забери воду, – велела Хосефа, услышав, как ее сын стучится в дверь костяшками. – Дай ему это ведро, пусть еще принесет, – добавила она, когда Эмма поставила на пол лохань, которую притащил Далмау.

Потом Далмау то и дело таскал воду то в лохани, то в ведре. Эмма помогала Хосефе. Подавала чистые полотнища, может быть предназначенные для шитья, чтобы та обтирала дочь, нежно, напевая вполголоса. Эмма узнала песенку, она ее слышала в детстве, когда ее отец и отец Монсеррат были живы, до процесса в крепости Монжуик, погубившего двоих товари-

щей-анархистов, которые не совершили никакого преступления. Она про себя напела мелодию. Монсеррат стояла с блуждающим взглядом, голая, надсадно кашляя, вода стекала с ее истерзанного тела на плиточный пол. Эмма грязными тряпками подтирала лужи. Вымыла подруге ноги, встав на колени и глядя в пол.

– Эмма, – отпустила ее Хосефа, – пойдите с Далмау и купите хорошее лекарство от кашля. Еще купите свежего хлеба и все, что нужно для доброй *эскудельи*... с постным мясом. Ты знаешь, что требуется. Денег не считай, – добавила она. – Монсеррат нужно подкормить.

Далмау взял достаточно денег, и они с Эммой купили телятину, постную, как и просила Хосефа. Распоряжалась Эмма: отвергала одни куски, выбирала другие. «Этот почти протух, хотя они и поливают мясо чем попало», – объясняла она Далмау. Также они купили курицу, разрубленную на куски, и хороший набор свинины: шпиг, уши, голову... Спинку кролика, баранью ногу, хвост и шею. Рульку и телячью кость. Свиной колбасы, кровяной и мозговой. Картофеля и белой фасоли. Масла. Капусты, сельдерея, моркови, лука-порея, артишоков и риса. Яиц и петрушки. Чесноку, муки и хлеба. Потом зашли в аптеку, и Далмау попросил лучшего лекарства от кашля.

Им продали микстуру из бромформа и героина.

– Сочетание бромформа, седативного средства, – пояснил аптекарь, – и героина облегчит кашель. Определенно! – заявил он, видя, как Эмма в сомнении вертит в руках пузырек.

– Мне казалось, что такие лекарства готовят на основе морфина, – тоже удивился Далмау.

– Героин – производное морфина, средство более действенное. Сами убедитесь.

Аптекарь не соврал. Когда они вернулись, Монсеррат, чисто вымытая, спала в чистой рубашке на чистых простынях, а Хосефа шила у окна, хотя глаза у нее почти слипались. Приступы кашля, нарушавшие сон Монсеррат, исчезли, как только мать дала ей выпить хорошую дозу микстуры. Потом, пряча от сына глаза, обходя его стороной, избегая его, отправилась на кухню готовить суп.

– Почему она ведет себя так?.. – спросил Далмау.

– Чувствует себя в ответе, – сказала Эмма, даже не дослушав. – Ей стыдно.

– Стыдно? – изумился Далмау.

– Да, – убежденно проговорила Эмма. – Стыдно за ужасы, которые пережила Монсеррат. Стыдно за плоть от плоти ее, которую она любит больше, чем свою собственную; за плоть, опоганенную шайкой воров, негодяев и сукиных детей. Любопытно, правда? Такие мы, женщины, глупые.

Да, женщины могут стыдиться того, в чем несколько не виноваты, но нужно ли прибавлять к этому обязанность идти вместо Монсеррат к монахиням Доброго Пастыря брать уроки катехизиса, как ей только что предложил Далмау? Эмма плакала на заднем дворе столовой, повернувшись спиной к жениху. Кого она оплакивала? Монсеррат или саму себя? Подруга восстанавливалась – физически, потому что в духовном плане она, кажется, стерла из памяти все, что выстрадала в тюрьме, хотя травмы никуда не делись, Эмма замечала их каждый раз, когда с ней встречалась, – почти каждый день. Они сидели дома и болтали или выходили погулять, выпить кофе или чего-то прохладительного, если находились деньги. Монсеррат осталась без работы; на прежней фабрике ее даже не пустили на порог, и на другие текстильные предприятия тоже не захотели нанимать. Ее имя попало в списки нежелательных лиц: в черные списки. С этого момента классовая борьба, промышленники, буржуи, а главное, Церковь и клирики стали для нее настоящим наваждением, будто это в самом деле помогало забыть недавнее прошлое и туманное настоящее.

Как Эмма ни старалась, беседы с подругой всегда склонялись к эксплуатации рабочих или к смирению, которое проповедовали попы, одурманивая народ и отводя его гнев от истинного виновника его страданий: капитала. Эмма разделяла эти идеи, так было всегда, они вместе ходили на манифестации, участвовали в забастовках, но жизнь заключала в себе что-то боль-

шее, и мало-помалу это наваждение отдаляло их друг от друга, так что они почти перестали видеться. Хосефа умоляла Эмму приходить, встречаться с ее дочерью, общаться с ней, но Монсеррат нашла опору в брате Томасе и в анархистском движении. После успеха республиканцев на выборах 1901 года анархисты Барселоны впервые вышли из подполья. Ячейки укрепились, некоторые члены вернулись из изгнания, и все они начали строить планы. Появились новые газеты революционной направленности; одна из них, финансируемая Феррером Гуардия, под названием «Ла Уэльга Хенераль», прямо указывала путь: всеобщая забастовка как наивысшее проявление борьбы классов.

Эмма высморкалась, поджала губы и покачала головой.

– Я виноват. Прости меня, – прошептал Далмау, кладя ей руки на плечи.

– Простить? – жалобно вскрикнула Эмма, снова отстраняясь от него. – Как, по-твоему, я должна теперь себя чувствовать? Ведь ты говоришь, что, если она не пойдет в приют, ее опять посадят в тюрьму.

Об этом и предупредил Далмау преподобный Жазинт, объявив, что дон Мануэль не примет больше никаких отговорок и промедлений.

– А если я не соглашусь и ее вернут в тюрьму? – продолжала Эмма. Далмау пробормотал что-то невнятное, и она в ярости оттолкнула его; тот стерпел. – Что тогда будет? Ее снова посадят по моей вине?

– Не по твоей... – Далмау понимал ее, осознавал ответственность, которую возлагал на плечи своей невесты, но ничего другого ему не приходило в голову.

– По моей! – возразила Эмма. – По моей, – повторила она и, закрыв руками лицо, разрылась слезами. – По моей, по моей, – твердила она, рыдая.

Далмау защищался, как мог. Ему создавшаяся ситуация тоже не сулила ничего хорошего, и он скрепя сердце просил невесту об услуге.

– Не нападай на меня, Эмма. Прошу тебя, хватит! Я всего лишь добился свободы для девушки, которую пустили по рукам, которую насильовали в тюрьме. Она сама меня умоляла! Мать просила, да и ты тоже. Я прибег к единственному средству, доступному для такого, как я. Я знал, что сестра не согласится, поэтому соврал ей, и дону Мануэлю, и преподобному Жазинту. И сделал бы это снова, понимаешь? Поступил бы точно так же, – закончил он убежденно.

– С теми же последствиями.

– Нет, – поспешил возразить Далмау, – если бы я начал все сначала, я бы предложил тебе заранее то, что предлагаю сейчас. Монсеррат твоя подруга, вы почти как сестры. Моя мать тебе как родная. Если бы, когда Монсеррат отказывалась выйти из тюрьмы, только чтобы не ходить на уроки катехизиса, я, не видя другого выхода, чтобы выволить ее и одолеть ее упрямство, попросил бы тебя о помощи и предложил заменить ее у монахинь, неужели ты бы оставила ее гнить в тюрьме?

Эмма глубоко вздохнула.

– Я виноват, – повторил Далмау, отирая подушечкой пальца слезы, которые струились у нее по щекам. Эмма не сопротивлялась. – Извини, что так прямо поставил тебя перед фактом, но ты единственная, кто может спасти Монсеррат. Она обезумела. Ненависть переполняет ее.

Взглянув на Далмау, Эмма поняла, что душа его разрывается между тремя женщинами, близкими ему. Ею самой, Монсеррат и Хосефой. Перед ней стоял любимый мужчина, и в этот момент она полностью приняла на себя все его заботы. Далмау – хороший человек. Эмма пожалела, что была с ним сурова, и что-то всколыхнулось у нее внутри, забилося настойчиво, сильно. Далмау был прав: предложи он это, когда Монсеррат еще сидела в тюрьме и свобода подруги зависела бы от нее, она пошла бы на подмену без малейшего колебания.

На губах у Эммы появился намек на улыбку. Она схватила Далмау за руку, увела со двора.

– Садись, – велела, показывая на один из столиков под открытым небом, на пустыре, что граничил с мыловаренным заводом. К вечеру летняя жара спала, задул приятный свежий ветерок.

Эмма, отлучившись ненадолго, принесла графин красного вина, два стакана и немного персикового джема, который остался от ужина. Бертран с семейством заканчивали убираться в заведении, где были заняты всего лишь с полдюжины столиков. Она уселась напротив Далмау и щедрой рукой налила в стаканы вино. Далмау сделал глоток.

– Пей, – велела она, сделав забавную гримаску.

Далмау взглянул на нее в растерянности.

– Хочешь меня напоить? – спросил он.

– Хочу, чтобы ты улыбнулся, этого довольно, – проговорила Эмма, но Далмау не изменился в лице. – Если для этого нужно тебя напоить... – Она показала на Бертрана, который считал выручку. – У меня тут вина сколько угодно.

– Мне сейчас не до шуток.

– Пей, – не отставала она, поднося к губам собственный стакан и опрокидывая в себя половину. В конце концов и Далмау сделал то же самое. – Теперь до дна, – предложила она, снова подавая пример.

Далмау опять присоединился. Еще стакан. Теперь они выпили вместе, подняв стаканы. Еще один. Вино кончилось.

– Мы хотим напиться, – сказала Эмма Бертрану, снова наполняя графин.

Тот кивнул. Потом сказал, что сейчас выставит засидевшихся клиентов, гомонящих за столиками, погасит свет, а она потом закроет.

– Ты мне доверяешь? – спросила Эмма с лукавой улыбкой.

– Какой у меня выбор.

Новый графин опустел. Далмау пытался поговорить о доне Мануэле, преподобном Жазинте, сестре, матери... Эмма пресекала любые попытки.

– Молчи и пей, – твердила она. – Не хочу ничего слышать. Давай напьемся, Далмау. Мы тут одни. Воспользуемся случаем. Насладимся. Напьемся... и как следует выбьем пыль из матраса.

Уже почти месяц у них не было отношений. В последний раз, когда Монсеррат со своей бедой стояла у них перед глазами, ни один не получил удовлетворения.

– Ты имеешь в виду... – засомневался он.

– Пей!

Они напились допьяна и действовали неловко. В темноте, внутри столовой не могли даже раздеть друг друга. Еле держась на ногах, шатались и падали, а когда рухнули на одеяло, расстеленное на полу, им никак не удавалось сдернуть одежду, которая упорно цеплялась за разные места. Оба хохотали.

– Подними зад! – велела Эмма. – Иначе мне никак не снять с тебя штаны, – промычала она сквозь зубы, словно совершая титаническое усилие.

– Да я уже поднял! – протестовал Далмау, еще выше задирая лобок.

– Тогда... за что же я тяну?

– За пиджак, – пояснил Далмау и с хохотом шлепнулся задом на пол. – За проклятуший пиджак!

Они еще продолжали сражаться с одеждой, когда Эмме удалось извлечь член Далмау: вялый.

– Это что такое? – жалобно протянула она.

Большим и указательным пальцем взялась за крайнюю плоть и стала выкручивать, будто отжимая тряпку.

– Эй! – вскрикнул Далмау.

– Давай! Вставай, красавчик! – обращалась она непосредственно к члену. – Поднимайся!

Они выпили много, но молодость и страсть возобладали, так что пенис внял призыву и окреп и у нее в промежности выступила влага. Они соединились. Сделали это, не заботясь о последствиях, и семя Далмау излилось в Эмму, вызвав у нее долгий и глубокий оргазм.

Лежа на полу под ним, Эмма подняла ноги, скрестила их поверх бедер Далмау и крепко прижалась к нему, чтобы войти в ритм его экстаза. Глубоко дышала и улыбалась, пока он стонал, запыхавшись. Хотела поймать его взгляд, но увидела закрытые глаза под плотно сомкнутыми веками. Она очень любила его. И поняла, что он избавляется от всех своих проблем; эта уверенность обрадовала ее.

Здание было грандиозным, величественным, как все, построенные религиозными орденами на проспекте Диагональ. Оно занимало целый квартал между Травессера-де-Грасия и улицей Буэнос-Айрес. Рядом с приютом монахинь Доброго Пастыря, исправительным заведением для девочек, высилось здание приюта Дуран для малолетних преступников, занимая квартал между Травессера-де-Грасия и улицей Гранада. Чуть выше располагался монастырь Черных Дам, то есть бенедиктинок.

Эмма знала, что чуть дальше по Диагональ находится фабрика изразцов, где работает Далмау. На заре она выбрала самую старую одежду и обувь, пытаясь скрыть свои прелести, хотя это было нелегко, поскольку день обещал быть жарким, и пришлось надеть тонкую блузку; потом отправила кузину Росу в столовую, предупредить, что опоздает.

Монахини Доброго Пастыря посвящали себя евангельской проповеди среди девиц, сошедших с праведного пути; они приносили добавочный, четвертый обет: спасать их души. Девочки и девушки делились на три разряда: те, что оставались непорочными; беззащитные сироты, которых можно было еще вернуть к Господу; и полностью утратившие правый путь, или окончательно пропащие. Существовали жесткие границы; внутри приюта между этими замкнутыми группами не допускалось никаких контактов и взаимоотношений. В приюте жили около двухсот пятидесяти девочек и молодых девушек. Содержание около сотни из них оплачивал муниципалитет Барселоны, много лет назад городская управа поручила религиозной общине основать исправительное заведение для женщин города; остальные траты покрывали щедрые пожертвования от верующих, в частности от благочестивого дона Мануэля Бельо.

Эмма дернула за цепь, что скрепляла решетчатую дверь, которая вела во дворы, окружавшие приют. Привратница вышла из будки, расположенной за дверью, и через решетку спросила, чего она хочет.

Чего она хочет? В такие детали Эмма не вдавалась. Она здесь ради Далмау, да, ради Далмау скорее, чем ради Монсеррат. Конечно, и ради нее тоже, ведь Монсеррат ее подруга. Она понимала, откуда такая реакция, такое полное погружение в политику. Ее запятали, ее сломали как женщину. Нередко, в тишине и темноте ночи, когда кухня беспокойно спала рядом, в их общей кровати – Роса всегда вертелась и брыкалась во сне, будто с кем-то дралась, – Эмма пыталась поставить себя на место Монсеррат, стремясь понять ее, может быть, принять участие в ее боли, чтобы смягчить ее. Тогда, с трепетом в сердце, воображала себя во власти всех тех негодяев: это ее насиловали, ее принуждали к самым постыдным и унижительным актам. Она зачастую не могла сдерживать слез, вспоминая грязное, истощенное, поруганное тело подруги. Ей стали сниться кошмары, от которых она просыпалась вся в поту, с тяжело бьющимся сердцем. Она понимает, казалось ей, и Монсеррат, и ее брата. У Далмау не было альтернативы: из лучших побуждений он ввязался в неразрешимый конфликт. Эмма думала также и о Хосефе. Эта женщина относилась к ней как мать. Будет несправедливо заставить ее страдать еще больше.

– Чего ты хочешь, девочка? – настойчиво допытывалась привратница.

Эмма перевела дух, а женщина за решеткой оглядела ее сверху донизу.

– Меня зовут Монсеррат, – хрипло проговорила Эмма, – Монсеррат Сала, меня прислал дон Мануэль Бельо, керамист, у которого фабрика...

– Знаю, – перебила привратница, когда Эмма махнула рукой в сторону фабрики изразцов. – Ты уже давно должна была появиться, – сказала она с укором.

Потом открыла дверь, пропустила ее, снова закрыла и повела Эмму к главному зданию.

– Стало быть, ты и есть та анархистка...

Это изрекла монахиня средних лет с суровым лицом, в белом облачении и черной токе, которая приняла Эмму, окруженная образами, в темном, скупо обставленном кабинете, где устоялся какой-то затхлый запах.

– Да, – ответила та с апломбом, стоя перед столом, за которым сидела монахиня.

– Да... почтенная мать настоятельница, – поправила та девушку.

Только через несколько мгновений до Эммы дошло, чего от нее требуют, хотя она знала, что должна подчиняться. Иначе ее присутствие здесь будет бесполезным.

– Да... почтенная мать настоятельница, – повторила она смиренным тоном, потупив взор. Улыбнулась про себя: раз они этого хотят, она их не разочарует.

– Ты готова изучать христианскую доктрину, молиться Господу нашему, любить Его, подражать Ему и к Нему приобщиться?

– Да, почтенная мать настоятельница.

– Готова служить Ему всю жизнь, отречься от Сатаны и греховных деяний его и тем самым пребывать в лоне святой матери Церкви, католической, римской и апостолической?

– Да, почтенная мать настоятельница, – повторила Эмма.

На несколько мгновений монахиня умолкла, пристально изучая Эмму, будто желая проникнуть в ее мысли. Наконец, не сделав ни единого движения, продолжила:

– В этом приюте мы боремся с кознями лукавого, направленными на женский пол, обучая воспитанниц искусствам и ремеслам, подходящим для женщин, не говоря уже о религиозном воспитании. Правильней было бы поместить тебя в интернат, как других, но дон Мануэль не сказал, что тебя следует обучить какому-либо ремеслу, не было речи и о помещении в интернат, что влечет дополнительные расходы. А посему ты будешь приходить каждый вечер...

– Почтенная мать, нет... – жалобно вскрикнула Эмма.

– Настоятельница.

– Настоятельница, – повторила девушка.

– Почтенная мать настоятельница, – стояла на своем монахиня.

– Почтенная мать настоятельница, – повторила Эмма, изо всех сил стараясь не потерять терпения.

– Вот так, Монсеррат. И не перебивай меня, когда я говорю.

– Но дело в том, что я не могу приходить по вечерам, – невзирая на предупреждение, настаивала Эмма. Мать настоятельница вопросительно взглянула на нее. – С тех пор как... Ну ладно, я вышла из тюрьмы, и меня не берут ни на одну из фабрик. Я устроилась в столовую, а по вечерам, именно в эти часы, там работы больше всего.

– Служение Богу не признает расписаний...

– Может быть, по утрам? На рассвете? Мне нужна эта работа, почтенная мать настоятельница. Я помогаю матери, она вдова и занимается шитьем на дому.

– Освоить ремесло и трудиться необходимо для того, чтобы следовать правым путем, – отметила настоятельница поучительным тоном, – это, как я уже говорила, метод, избранный нашим орденом. Не нам препятствовать твоей работе.

Потом она расспросила монахиню, которая привела Эмму в кабинет после того, как привратница ее впустила в здание, и все время неподвижно, не произнося ни слова, стояла в нескольких шагах позади. Теперь она, кажется, выразила согласие, и настоятельница кивнула.

– По понедельникам, средам и пятницам будешь приходить сюда ровно к шести утра. Сестра Инес передаст тебе дальнейшие распоряжения.

Прощаться она не стала. Эмма дождалась, когда сестра Инес схватила ее за руку и потащила к двери из кабинета.

– Спасибо, почтенная мать настоятельница, – успела произнести она.

Тем же вечером, когда Далмау выходил от пиаристов, Эмма, видя, как он старается сдерживать слезы и проглотить застрявший в горле ком, мешающий говорить, со всей нежностью взяла его за руку, и тогда он сдавленно произнес:

– Спасибо.

Зато Бертран возмущился, услышав об утренних часах трижды в неделю, ведь они могли совпасть с теми, когда они ходили за покупками. Несколько раз в неделю Эмма сопровождала хозяина на рынок. У Эммы были очень развиты вкус и обоняние – Далмау добавил бы, что и осязание тоже, – и это прежде всего помогало распознать фальсифицированные товары, производство которых процветало в Барселоне в те времена. Мясо обрабатывали бисульфитом натрия, производным от соды, хотя с мясом проблем не было, поскольку дядя Эммы, Себастьян, который работал на бойне, уверял, что поставляет качественный продукт, от здоровых животных, забитых под строгим ветеринарным контролем, никогда от умерших или больных, как в многих торговых точках города. Эмма не оспаривала качество мяса, которое поставлял дядя Себастьян, хотя иногда вкусовые ощущения били тревогу и заставляли усомниться.

Хлебу, хотя он и стоил дороже, чем в большинстве европейских городов, придавали белизну сульфатом бария; к сахарному песку примешивали известку; сласти и пирожные делали на сахарине и для веса добавляли гипс; кофе в зернах откровенно подделывали; шоколад изготавливали из крахмала и продавали даже дешевле, чем чистый какао, из которого он якобы состоял; пиво осветляли свинцовой дробью и заменяли хмель стрихнином; уксус производили из уксусной, а иногда и серной кислоты; молоко разбавляли водой и снимали с него сливки; словом, прибегали к тысяче уловок, дабы извлечь максимум выгоды на рынке продовольствия.

Но больше всего фальсифицировали вино. Каталония, как и вся Европа, страдала от нашествия филлоксеры, мушки, которая к 1901 году уже уничтожила все каталонские виноградники и принялась атаковать виноградники Валенсии и других испанских регионов. Нехватка винограда в Каталонии привела к повышенному спросу на вино из Валенсии и других мест, до которых еще не докатилось бедствие.

В стране, где вино – продукт первой необходимости, цены на него взлетели до небес, что, соответственно, пробудило наглость и смекалку мошенников: одни бодяжили вино и добавляли хлорид натрия; другие, более подкованные, предпочитали вовсе его подделывать. Для такой цели годилась любая перебродившая жидкость, ее для большего объема разбавляли, а потом смешивали с немецким техническим спиртом, очень дешевым, чтобы получить нужный градус алкоголя. На последнем этапе пойло окрашивали в красный цвет фуксином. Люди его пили, некоторые даже нахваливали. Бертран не брезговал подавать его в определенных случаях и определенным клиентам, с условием, что с него самого за это вино не станут драть как за настоящее. В пятой части проб вина, поступавших в муниципальные лаборатории, находили посторонние вещества или продукт вообще оказывался поддельным.

Вот Эмма и пробовала сахар и вино, чтобы хозяина не надули. Еще ей нравилось готовить, и та или иная из дочерей Бертрана с радостью уступала ей место у плиты, где в чаду, в напряжении, среди разных запахов, а главное, под крики и распоряжения матери семейства готовилась пища, которую официантка несла во владения отца, в зал. Потом все три девушки брали на себя самую неблагоприятную работу: мыли полы и посуду, протирали столы и кухонные плиты.

Бертран нуждался в Эмме, и ему ничего не оставалось, как только уступить, приняв во внимание ее доводы: покупки можно делать и в остальные дни.

– Какая тебе разница, чем я занята в эти часы? – вскинулась было Эмма, но потом одумалась и привела благовидный предлог. – Я сотрудничаю с одним рабочим атенеем на Грасия, в эти часы работницы как раз приводят детишек, меня попросили помочь.

Бертран покачал головой, пощелкал языком и пригрозил, что заставит отрабатывать эти часы по вечерам.

– Еще чего! Может, к тому же и переспать с тобой? – возмутилась Эмма. – Я тружусь в твоём заведении больше часов, чем работницы на текстильных фабриках. Может, ты не в курсе, но рабочие борются за восьмичасовой рабочий день, некоторые даже и добились его, например каменщики в этом году.

Бертран склонил голову набок.

– Жизнь нынче тяжелая, Эмма, сама знаешь.

То была чистая правда. Катастрофа, как называли поражение, приведшее к потере колоний на Кубе и Филиппинах, а следовательно, заокеанского рынка, повлекла за собой закрытие многих текстильных фабрик в Каталонии: около сорока процентов занятых в отрасли остались без работы. Кроме того, в провинции Жирона, на севере Каталонии, в такой давней, богатой традициями индустрии, как производство пробки, где работало более тысячи двухсот фабрик, распределенных между двумястами населенными пунктами, была внедрена новая технология, что привело к увольнению около десяти тысяч рабочих. Большинство этих выброшенных на улицу, и текстильщиков, и занятых в производстве пробки, двинулись в Барселону и обнаружили там, что внедрение машин на еще оставшихся текстильных фабриках предполагает замену мужского труда женским, гораздо более дешевым; к тому же работницы более ловко управляют с ткацкими станками. В графской столице, стало быть, скопились тысячи безработных, низкой квалификации и по большей части неграмотных.

Невежество – вот главный враг анархистов и республиканцев. «Рабочий обязан учиться и бороться с невежеством» – гласил один из наиболее популярных в то время лозунгов. Анархисты поддерживали противостояние между наукой и верой, приходя к выводу, что Бог и человек – несовместимые понятия. Церковь внедряла в сознание прихожан ценности конформизма и покорности, ограничивая тем самым свободу личности и ставя под сомнение ее способность к здравому суждению. Образование, которое сделает рабочего свободным и самостоятельно мыслящим, было необходимо для осуществления столь желанной социальной революции.

В ту эпоху множились школы при рабочих атенеях. Анархист Феррер Гуардия собирался открыть Новейшую школу, где догматическое начетничество заменил бы живой процесс освоения естественных наук. И республиканцы во главе с Леррусом ринулись открывать школы при своих народных домах и братствах; к этому списку следует прибавить и публичные муниципальные школы.

И все-таки образование детей и юношества находилось большей частью в руках религиозных орденов: рядом с их великолепными, монументальными коллежами бледно выглядели частные школы, втиснутые в какую-нибудь квартирку, без оборудования, без ресурсов, где один-единственный учитель давал уроки в классе, состоящем из двадцати случайно подобранных учеников, разновозрастных, с разным уровнем подготовки.

Далмау повезло, он учился в Лютхе, а вот Эмма ходила в школу при рабочем атенее, где ее научили читать и писать, вычитать и складывать, готовить, шить, вышивать, и длилось это недолго, вскоре она пошла работать, сначала, на короткое время, на бойню вместе с дядей, потом в столовую Бертрана.

Теперь, пообщавшись с монахинями Доброго Пастыря, особенно с сестрой Инес, она вынуждена была признать, как горячо и самоотверженно заботятся они о девушках, и нормаль-

ных, и сбившихся с пути, с каким терпением их обучают – достоинства, которые уже отмечал Далмау, говоря о пиаристах.

– С кого-то они, конечно, берут плату, – рассказывал юноша, – но только затем, чтобы иметь возможность обучать многих других. Около шестисот учащихся посещают занятия у пиаристов бесплатно, большинство из них – дети рабочих, простых людей, которые живут здесь, в квартале Сан-Антони или в Равале.

– Но их обучают религии, – возразила Эмма.

– Ясное дело, – пожал плечами Далмау. – Не анархизму же обучать. Они священники. И обучают религии.

Так отвечал преподобный Жазинт, когда Далмау во время их бесед высказывал те же возражения.

– Ну да, – согласилась Эмма.

– Шестьсот детей из малообеспеченных семей – это много, Эмма. Маристы и салезианцы⁸ принимают столько же на тех же условиях, – добавил Далмау. – Бесплатно.

– Ну да, – повторила Эмма. Они немного помолчали. – Мы с тобой становимся христианами? – рассмеялась она, скорчив забавную рожицу. – Я христианка по милости Божьей, – с нарочитой серьезностью провозгласила она постулат, который сестра Инес заставила ее выучить в первый же день. – Что значит «христианин»? – продолжала она еще более торжественно. – Человек Христа, – сама же и ответила на свой вопрос. – Что вы понимаете под «человеком Христа»? Человека, который верует в Иисуса Христа, подтвердил это крещением и готов к святому служению Ему.

Далмау, взмахнув рукой, перебил ее.

– Нет. Это тут ни при чем, ведь есть много... очень много священников, посвятивших себя преподаванию, благотворительности и здравоохранению. Они работают безвозмездно. Отдают себя избранному делу, как преподобный Жазинт. Надо признать это.

– И отречься от наших пролетарских принципов? – резко прервала его Эмма. – Наши отцы погибли, защищая эти идеалы! Как же классовая борьба?

До самого конца 1901 года Эмма ходила на уроки в приют монахинь Доброго Пастыря. Вставала до рассвета, чтобы успеть к шести утра. Привратница впускала ее и уже не сопровождала. Эмма слышала, как резвятся интернатские, иногда натыкалась на какую-нибудь из девиц или видела их в окнах, когда подходила к зданию, но стоило ей войти, как сестра Инес, всегда пунктуальная, уводила ее в комнату, удаленную от шума и беготни, и продолжала процесс ее обращения в христианство. Никто не усомнился в том, что она – сестра Далмау. У них и не было на то никакой причины.

– Читай, – велела монахиня, поприветствовав ее и вручив катехизис.

– Каков знак христианина? – послушно приступила она. – Святой Крест. Нации, царства и народы имеют знаки, которые их различают. Мы, христиане, – священная нация, царство Иисуса Христа, народ, им приобретенный, и имеем своим отличием знак Святого Креста. Такой преславный девиз с самого начала христианства взяли себе христиане.

– Тебе все понятно? – спросила сестра Инес.

Чего тут не понять! Но Эмма ответила смиренным «да».

– Повторяй.

«Повторяй, повторяй, повторяй. Тебе все понятно? Читай дальше».

– Почему? Потому, что сей есть образ Христа распятого, на нем искупившего нас. Если бы народ христианский руководствовался мудростью человеческой, не выбрал бы он отличием

⁸ *Маристы* – члены монашеской общины Малых братьев Девы Марии, один из членов которой основал Институт школьных братьев маристов; *салезианцы* – монахи, принадлежащие к Обществу Святого Франциска Сальского; занимались бедными детьми и юношами, предоставляя им кров над головой, образование, проводя катехизацию и готовя ко взрослой жизни.

Иисуса Христа, распятого на Голгофе, но Иисуса Христа во славе на горе Табор; но народу сему, рожденному у подножия креста, должно питаться плодами его, вот и избрал он, ведомый божественной мудростью, тот самый крест, который, изображая Иисуса Христа, прибитого к нему, вечно возглашает великую любовь Бога, умирающего во спасение людей.

– Повторяй.

– Повторяй, повторяй, повторяй! Я только это и делаю все время!

Эмма заметила, что жених, пусть и сочувствуя ей, нахмурился. От нее не ускользнуло, что с тех пор, как она начала жаловаться, Далмау избегал разговоров о пиаристах. Не превозносил их, как раньше, за то, что они посвящают себя образованию бедняков, но и не критиковал, как Эмма – монахинь Доброго Пастыря.

Очередной день, очередной сеанс:

– Что такое крестное знамение? Сложить указательный и средний пальцы правой руки и коснуться лба, груди, левого плеча, а потом правого, призывая Святую Троицу. Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Означив это, трижды перекрестив три части нашего тела, в которых душа осуществляет главные свои действия, и вооружившись для защиты от мира, от демона и от плоти, мы творим большое крестное знамение, все прочие обнимающее; и тем самым вооружаемся окончательно ради битвы за наше спасение под защитой Святой Троицы, во имя которой мы и творим крестное знамение.

– Повторяй.

– И так целый час, Хосефа. Целый час повторять, учить наизусть катехизис.

Мать Далмау и Монсеррат, как всегда, сидела за машинкой, но прервала шитье, чтобы поблагодарить Эмму за мучения, которые та терпела ради ее дочери. Эмма хотела повидать подругу, поболтать с ней, пусть и о политике, поглядеть на нее, к ней прикоснуться, посмеяться вместе. Если возможно, возродить дружбу, которая обошлась ей так дорого. Но проблема заключалась в том, что Монсеррат не появлялась дома. Скрывалась вместе с Томасом в домах анархистов, готовила революцию. «Знать бы, с кем она сожительствует, – жаловалась Хосефа. – Сама знаешь, каковы анархисты. Чего мне стоило держать в узде моего Томаса». Эмма знала, что анархисты неразборчивы в связях. Они проповедовали свободную любовь, половое влечение воспринимали как природный инстинкт и не признавали подавляющей его буржуазной морали, а заодно и института семьи, в которой, как считали многие, женщина занимает подчиненное положение, а мужчина подавляет, угнетает ее. Семья всего лишь отражает государственный авторитаризм на другом, более личном, уровне; она – Государство в миниатюре, а значит, достойна осуждения вместе со строгими моральными нормами, сдерживающими естественные влечения. Моногамный брак, супружеская верность, даже ревность – не более чем орудия подавления личности в руках Церкви и властных структур. Меньше года назад, прошлым летом, группа товарищей пригласила подруг искупаться голышом на пляже Барселонеты. Эмма с Монсеррат обсуждали такую возможность. «У меня жених», – привела свой довод Эмма. «Только им об этом не говори», – посоветовала подруга. Они все-таки пошли, но только поглядеть.

– Повторяй за мной: какая шестая заповедь? Не прелюбодействуй. В чем наставляет нас эта заповедь? Быть чистыми и целомудренными в мыслях, словах и делах.

Они шли по Ронда-де-Сан-Антони по направлению к университету, и Далмау слегка прикоснулся пальцами к ее ягодицам.

– Мы могли бы найти местечко... – шепнул он ей на ухо. – Например, пойти домой к твоему дяде.

Эмма чуть не расхохоталась, когда парень застыл на месте, воззрился на нее, широко раскрыв глаза, после того как она прочла ему шестую заповедь, которая свежа была в памяти, ведь не далее как утром девушка повторяла ее не раз и не два. Но ей было не до смеха: слишком все надоело.

– Но к чему ты это говоришь? – спросил Далмау и попытался обнять ее.

Она увернулась.

– Мы не должны прикасаться друг к другу, – предостерегла она. – Разве твои пиаристы тебя не учат Божьим заповедям? Вот слушай: гнев побеждается смирением сердца. Просто, да? Зависть подавляется в груди, там подчас и остается, – продолжала Эмма. – Но похоть не победить иначе, как только убегая от нее. – Эмма отступила на шаг, будто подкрепляя свои слова действием. – Страсть эта настолько грязна, что пятнает все, к чему прикасается, и чтобы она не запятнала нас, мы не должны прикасаться друг к другу.

– Ты это серьезно, милая? – Далмау попытался выдавить улыбку.

– Совершенно серьезно.

И они пошли дальше каждый сам по себе, даже не соприкасаясь руками.

– Чем закончится весь этот фарс? – спросила Эмма через несколько шагов, уже перед университетом; в этом здании строгих очертаний, но, как ей рассказывали, великолепном внутри, состоящем из центрального корпуса и двух крыльев, увенчанных башнями, располагались факультеты словесности, права и естественных наук, а также школа архитектуры и институт Бальмеса.

Далмау не знал, что отвечать. Обман Эммы мог раскрыться, или Монсеррат могла попасть в одну из многих облав, какие устраивали на анархистов. Он ничего не мог поделать, но понимал, что в любом случае пострадают не только девушки, Эмма в меньшей степени, поскольку всего лишь выдала себя за подругу, но и он сам: дон Мануэль обязательно отыграется на нем.

– Меня окрестят? – спросила Эмма, прерывая размышления жениха.

– Нет! – воскликнул Далмау.

– А что тогда?

Ответ они получили 16 декабря. В этот день рабочие основных металлургических и металлообрабатывающих предприятий Барселоны объявили забастовку. Литейщики, слесари, котельщики, ламповщики, скобовщики, жестянщики и работники других смежных профессий требовали повышения заработной платы и сокращения рабочего дня на час, с десяти часов до девяти, чтобы можно было нанять больше рабочих и тем самым противостоять такому бедствию, как безработица.

Забастовщики разделились на пикеты примерно по тридцать человек и стали ходить по городу, принуждая бастовать несогласных. Через день, ранним ненастным утром, предвещавшим холода уже недалекой зимы, Монсеррат явилась в столовую Бертрана; тот узнал ее и пропустил: его больше беспокоили остальные двадцать девять, которые выстроились у двери, выкрикивая лозунги и приводя в ужас честной народ.

Ей не обязательно было проникать в кухню, все, кто там находился, вышли в зал, привлеченные шумом. Эмма поразилась, увидев, в каком диком возбуждении пребывает Монсеррат. Они не виделись уже несколько месяцев.

– Идем с нами, товарищ! – призывала Монсеррат Эмму, расхаживая между столами и потрясая сжатым кулаком. – На борьбу!

Многие из рабочих, сидевших в зале, криками приветствовали Монсеррат. Иные повскакали с мест. Тарелки и стаканы полетели на пол. С полдюжины металлургов, ждавших у дверей под дождем, вошли внутрь. Бертран взглядом умолял Эмму поскорей увести подругу. Крики в зале становились громче. Какой-то силач заставлял подняться тех, кто не встал. Один из них, плюгавый, но свирепый, дал отпор. Жена Бертрана, видя, что атмосфера накаляется, подтолкнула Эмму к ее подруге.

Эмма заколебалась, но хозяйка попросту взмолилась:

– Иди с ней, или они здесь все разнесут!

Свирепый хилытик получил тычок и с грохотом свалился на стол. Среди взрывов хохота слышались новые проклятия попам и буржуйам.

Монсеррат все еще потрясала кулаком, но уже не так энергично: скосив глаза на Эмму, она не могла не заметить ее безразличия. И опустила руку.

Жена Бертрана еще сильнее подтолкнула Эмму.

Не очень понимая, что происходит, Эмма поглядела на подругу, от которой ее отделяло два ряда столиков, и отрицательно покачала головой. Этим самым утром, до того, как пробило шесть, она при блеске молний в страхе бежала по городу, к приюту монахинь Доброго Пастыря. «Какие добродетели даруют нам таинства вместе с благодатью? Основные три, богословские и священные. Каковы они? Вера, надежда и любовь». Она могла повторить без запинки! Сестра Инес вдолбила ей это несколько часов назад в плохо освещенной, холодной комнате, где Эмма дрожала в мокрой одежде, прилипавшей к телу. Все ради Далмау и Хосефы, но и ради подруги тоже – еще бы нет! – чтобы все думали, будто она постигает евангельские истины, и не посадили ее снова в тюрьму. И вот она, Монсеррат, ликующая, полная жизни, зовет Эмму на борьбу за рабочее дело.

Подол у Эммы был еще мокрый, хотя она и высушила платье перед очагом на кухне. Он мешал: цеплялся за ноги и приводил на память бешеный бег к приюту. К чему все эти усилия, если Монсеррат возглавляет пикет забастовщиков? «Вера, надежда и любовь». Эмма рассмеялась и покачала головой.

– Не пойду, – ответила она, глядя на Монсеррат.

– Ты стала буржуйкой? – насмешливо проговорила та; рабочие, стоявшие вблизи, замерли, ожидая, что из этого выйдет.

Эмма показала свои руки, одарив собравшихся надменным взглядом.

– Хочешь, пойдем вместе помоем посуду? – вместо ответа спросила она. – Скоро накопится много грязной, – добавила, обводя столики рукой.

– Так оставайся драить ее! – презрительно бросила Монсеррат, вновь воздела кулак и выкрикнула: – Стачка!

Пикетчики подхватили призыв Монсеррат и шумной толпой вывалились из заведения, оставив после себя тишину, которую через несколько мгновений нарушил Бертран:

– Подберите все, что упало! – велел он женщинам.

Забастовка металлургов не склонила хозяев к уступкам. Через две недели извозчики, плотники и докеры, разгружающие уголь в порту, присоединились к стачке. Не обошлось без актов насилия: один из хозяев стрелял в пикетчиков, которые пытались закрыть его мастерскую, и ранил троих. Пикетчики запугивали тех, кто не присоединялся к забастовке, и даже нападали на них. В начале января 1902 года конная жандармерия атаковала рабочих, собравшихся у речки Бесос, в местечке под названием Ла-Мина; их было три тысячи человек, в том числе немало женщин. Много раненых, сорок человек арестовано. Маленькая дочка одного металлурга умерла от недоедания. У бастующих кончились деньги, нечем стало кормить семью. На похороны пришло больше трех тысяч человек.

В конце января общества рабочего сопротивления собирали по десять сентимо в неделю с каждого для помощи бастующим и их семьям.

Монсеррат, которая до тех пор была полностью погружена в борьбу, отдавалась ей телом и душой, даже ночевала на улицах, все время начеку, на страже, стала снова появляться в доме матери. Она приходила по вечерам, к ужину, потом уходила снова. Далмау хорошо зарабатывал, сестра знала, что у него даже есть сбережения. В доме Хосефы не переводилась еда. Сперва Монсеррат забирала остатки, чтобы накормить товарищей, через несколько дней стала их приводить с собой.

Стараясь избегать этих ужинов, Далмау оставался работать до зари. Он знал, как сестра обошлась с Эммой, которая решила больше не ходить к монахиням на евангельские проповеди.

– Пропади она пропадом! – возмутился Далмау, имея в виду сестру.

Это, боялся Далмау, и должно было вот-вот случиться. Преподобный Жазинт поставил ему на вид, что Монсеррат перестала ходить на уроки катехизиса. То же сделал и дон Мануэль.

– Я дал честное слово генерал-капитану, сынок, – предостерег он. – Если твоя сестра перестанет посещать уроки, она вернется в тюрьму.

– Разве вам недостаточно моих стараний? Я могу делать гораздо больше, дон Мануэль. Разве этого не довольно? Монсеррат плохо чувствует себя... Ей очень худо пришлось в тюрьме, и она до сих пор не оправилась. Бывают... бывают дни, когда она не хочет выходить из дому.

Учитель кивнул, поджав губы, не до конца убежденный.

Пока она в безопасности, думал Далмау, шагая домой после полуночи. Дон Мануэль вроде бы поверил в его оправдания, по крайней мере, принял их. И если он не донесет, ни армия, ни полиция не помчатся арестовывать сестру: у них были проблемы посерьезнее.

Едва Далмау открыл дверь в квартиру, как на него навалилась усталость. Такое с ним часто бывало: он уже поужинал и хотел поскорее лечь. Пако, сторож, ходил за ужином для него в ближайшую столовую и приносил в мастерскую; в большинстве случаев двое мальчишек, которым фабрика заменила домашний очаг, увязывались за ним в надежде что-нибудь для себя урвать, и каждый раз у них это получалось. Но на этот раз мать и сестра ждали Далмау сразу за дверью, в комнате, служившей кухней, столовой и гостиной.

– Это правда – то, что мне рассказала мама? – спросила Монсеррат, даже не поздоровавшись с братом.

Далмау засопел, снимая пальто.

– Полагаю, да, – ответил он, присаживаясь к столу, за которым расположились женщины. – Раз уж мама рассказала тебе.

– Правда, что Эмма ходила вместо меня к монашкам?

Далмау взглянул на Хосефу.

– У меня невольно вырвалось, – виновато сказала та. – Я не могла допустить, чтобы дочь продолжала сомневаться в принципах Эммы. Монсеррат только и делала, что клеймила ее позором.

– И не отрекусь, мама, ни от единого слова! Выставить меня христианкой! – со всей надменностью воскликнула Монсеррат.

– Это не все, – устало прервал ее Далмау. Даже неожиданная встреча, даже дерзкие речи сестры не взбодрили его; наоборот, то, что сестра обо всем узнала, принесло ему явное облегчение. – И я пообещал, что перейду в веру и буду давать уроки рисования у священников-пиаристов, здесь рядом. – Он большим пальцем показал назад, через плечо. – И даю. И терплю проповеди преподобного Жазинта... Он неплохой человек, – добавил Далмау, – но проповеди я терплю ради тебя.

– Ради меня! – взорвалась Монсеррат. – И ты, и Эмма – даже мама! – считаете, что сделали это ради меня? От моего имени поддались шантажу попов и буржуев? Этих подонков! Лучше мне было остаться за решеткой! Я предупреждала тебя, когда ты мне это предложил в тюрьме.

Далмау не узнавал сестру. Ее лицо пылало гневом, взгляд чуть не пронзал насквозь. Все старались ради нее, проявили великодушие, но не дождалась даже благодарности. Борьба за рабочее дело, неистребимая ненависть к буржуям и католикам ослепляли ее.

– Может, и так, – мрачно проговорил он. – Но ты просила, чтобы я тебя оттуда вытащил, помнишь?

Монсеррат вскинулась, хотела возразить, но Далмау остановил ее, взяв за руку. Этот ласковый жест смутил девушку, и Далмау продолжал:

– Прости, я, вероятно, ошибся. Ошибся наверняка, – повторил он, вставая и направляясь в спальню. – Спокойной ночи. А, – добавил он перед тем, как закрыть за собой дверь. – Вероятно, тебя снова арестуют. Эмма больше не ходит к монахиням.

– Так пусть Эмму и сажают в тюрьму! – заходя в свою комнату без окон, услышал он крик Монсеррат. – Ведь это она не исполнила свой долг, верно? – вне себя вопила сестра.

Девушки не искали встречи. Далмау откровенно рассказал Эмме о ссоре с сестрой. Хотел найти у невесты понимание и сочувствие, в которых отказала ему Монсеррат. Он был убежден, что сделал то, что должен был сделать: сестра молила его со слезами, мать настаивала, и сам он в глубине души требовал этого от себя, но добился одного лишь презрения.

– Неблагодарная! – сокрушалась Эмма. – Сколько дней я каждое утро талдычила все эти глупости насчет Бога, его растреклятой Матушки и всех святых, а ей спасибо трудно сказать. Говоришь, меня же еще и винит?

И все-таки девушки встретились.

Забастовка продолжалась, но металлурги не могли добиться исполнения своих требований. Хозяева упорно не шли ни на какие уступки, хотя иные политики левого толка предупреждали, что противостояние может перерасти в кровавую баню. Положение становилось невыносимым, и в воскресенье, 16 февраля 1902 года в Барселоне состоялось более сорока митингов солидарности. На один из них, в цирке «Испанский Театр» на Параллели, пришло больше трех тысяч человек и были представлены тридцать рабочих обществ.

На всех этих собраниях анархисты призывали к всеобщей забастовке. На следующий день, 17 февраля, сто тысяч человек не вышли на работу, Барселону парализовало. Тем же утром произошли первые стычки с жандармерией, были убитые и раненые. И снова пикеты, состоящие из женщин под красными знаменами, выказывали самый яростный боевой дух, заставляя тех, кто медлил, закрывать фабрики и магазины. Весь транспорт встал, газеты не печатались, бойня закрылась, и забастовщики препятствовали подвозу каких бы то ни было товаров в город. Военные взяли на себя управление городом, объявили осадное положение; солдаты, вооруженные маузерами и пулеметами, завладели улицами. Столовая «Ка Бертран» закрылась. Закрылись учебные заведения. Фабрика изразцов донна Мануэля Бельо – тоже, и учитель с семьей покинул город, как это сделали многие богатые буржуа и промышленники, спасаясь в своих летних особняках в Маресме или Кампродоне. Несмотря на то что работа прекратилась, Далмау каждый день приходил на фабрику. Пако незаметно открывал ему. Там Далмау рисовал и писал маслом в доводящей до дрожи тишине и почти в потемках, чтобы не привлекать внимание пикетов. Он много рисовал сестру, сделал тысячу портретов Монсеррат.

В те дни народ воздвиг на улицах баррикады: мешки с землей, старая мебель, повозки, брусчатка, вывороченная из мостовой... Через три дня после объявления забастовки за одной из таких баррикад, сооруженной возле рынка Сан-Антони, стояла Эмма, вместе с сотнями бастующих; многих она знала: они жили в том же квартале, ходили в ту столовую, где она работала, и всем осточертела такая жизнь и такие условия труда. «Задумайтесь, буржуи!» – кричала Эмма вместе со всеми, потрясая кулаком. Такой лозунг появился на тысячах плакатов, расклеенных по стенам барселонских домов.

Лил дождь. Сильный дождь.

Прошел слух, что приближается подразделение солдат, и люди разделились: одни, Эмма в их числе, бросились укреплять баррикаду, хотя бы своим присутствием; другие отступили на расстояние, которое сочли безопасным, и оттуда продолжали кричать, хотя выкрики уже были окрашены страхом. Но прежде солдат на баррикаду прибыл пикет анархисток под насквозь промокшими красными знаменами; женщины держали их высоко и размахивали ими изо всех сил, чтобы полотнища развевались. Во главе группы яростных революционерок Эмма заметила Монсеррат: та, запыхавшись, отдавала приказы охрипшим от крика голосом.

Монсеррат и Эмма столкнулись за баррикадой. Обе промокли до нитки. Одежда прилипла к телу, мокрые волосы разметались по щекам.

– Что ты здесь делаешь? – с презрением бросила Монсеррат. – Шла бы в церковь молиться.

– Если бы я не ходила в церковь, тебя бы сейчас здесь не было. Неблагодарная.

– С чего бы мне быть благодарной тебе? Я ничего у тебя не просила и ничего тебе не должна. Понятно?

– Легко говорить сейчас, вне стен «Амалии». Разве ты не просила брата выволочь тебя оттуда? Не молила его в слезах?

Их спор слышали женщины, пришедшие с Монсеррат, и та поняла, что после слов Эммы ей необходимо укрепить свои позиции.

– Я попала в тюрьму, защищая то же дело, за которое мы боремся сейчас. Я ни за что бы не согласилась выйти оттуда такой ценой: чтобы ты или мой брат трепали мое имя, мою борьбу и мои идеалы по монастырям, приютам и церквям.

Некоторые из женщин одобрительно зашептались, Эмма взгляделась, пытаясь узнать кого-то, кто ходил с ними в пикеты раньше, но не получилось. Все были новенькие, ярые анархистки.

– Меня арестовали и посадили в тюрьму как анархистку, – продолжала Монсеррат. – И за это я погибла бы в тюрьме, как мой отец. Гордясь моими убеждениями! Моей борьбой за дело революции!

Революционерки, окружавшие Монсеррат, при этих словах разразились восторженными криками. Заплескались красные стяги. Кто-то вытолкнул Эмму из группы, как будто она – враг, ренегатка, которой не место на баррикаде. Провожая бывшую подругу взглядом, Монсеррат пальцем указала на нее:

– Ты не имела права называться моим именем!

Эмма, которую теперь толкали со всех сторон, старалась не потерять из виду Монсеррат, в страхе перед ненавистью и гневом, которые переполняли ту, что была когда-то ее подругой. И, по крайней мере в сердце Эммы, ею оставалась. Эмма любила ее, у нее в мыслях не было ей навредить.

– Ты изменила делу, покорно подчинилась попам и буржуям, продалась капиталу, – безжалостно продолжала та.

Диатрибу Монсеррат прервали выстрелы. То были вольные стрелки из бастующих, они устроились на крышах и пытались поразить солдат, которые неуклонно приближались.

– Предательница! – крикнула Монсеррат, указывая на Эмму.

Военные установили пулемет на достаточном расстоянии, чтобы оружие революционеров, скверное и устарелое, не причинило бы никакого вреда. Офицер велел восставшим разобрать баррикаду и очистить улицу. Анархистки, укрывшись за ненадежным укреплением, вместо ответа воздели свои стяги и яростно замахали ими.

Эмму потащила за собой толпа забастовщиков, которые бежали с баррикады, чтобы укрыться в безопасном месте. Она не хотела терять из виду Монсеррат. Запнулась, пошатнулась и оказалась одна на улице, большинство бежавших далеко за ее спиной, засевшие за баррикадой анархистки под красными знаменами и некоторые из бастующих – впереди, а за ними, еще дальше – солдаты. Монсеррат по-прежнему глядела на нее, стоя спиной к баррикаде.

Эмма раскрыла объятия, слезы текли у нее по щекам.

Гулко прозвучал очередной выстрел с крыши. Старик, укрывшийся в парадном, делал Эмме знаки, чтобы она поскорее присоединилась к нему. Две анархистки махали руками, показывали Монсеррат, чтобы та пригнулась, спряталась за баррикадой. Ни та ни другая не сдвинулись с места.

– Сестра! – крикнула Эмма.

– Нет! – гордо выпрямившись, отвечала Монсеррат. – Я тебе не сестра!

- Я люблю тебя!
- Укройтесь! – кричала одна из женщин.
- На землю! – сорвалась на визг другая.

Было поздно.

Сметая все на своем пути, затарахтел пулемет. Сухой треск пулеметной очереди отдавался от стен в тысячу раз сильнее, чем отдельные выстрелы забастовщиков, засевших на крышах.

Эмма увидела, как голова подруги резко дернулась вперед, словно стремясь отделиться от тела, а лицо взорвалось. Потом Монсеррат упала ничком на мостовую и больше не двигалась, и алая, блестящая кровь стекала в лужи, оставшиеся после дождя.

4

Далмау старался не отходить от матери во время прощания с телом Монсеррат; да он и не смог бы. Не хотел ни с кем говорить, вновь рассказывать о произошедшем, опять выслушивать соболезнования, сетования и повести о чужих несчастьях, как будто страдания других людей способны хоть на йоту утешить его и помочь пережить потерю сестры. Тело Монсеррат лежало в столовой, но в закрытом гробу: во-первых, запах уже ощущался, а во-вторых, выходное отверстие пули изуродовало лицо, исковеркав один глаз и часть носа. В разгар всеобщей забастовки не нашлось похоронной конторы, где скрыли бы увечья и нанесли грим, чтобы Хосефа в последний раз могла взглянуть на дочь. «Какая ирония!» – без конца твердил про себя Далмау.

Внутри квартиры, на площадке, даже на узкой лестнице и на улице тоже толпились товарищи Томаса, женщины с баррикады, те, что махали красными знаменами; какая-то дальняя родня, соседи, ткачихи с фабрики. Атмосфера складывалась напряженная: прошел слух, будто военные застрелили Монсеррат, воспользовавшись тем, что она ссорилась с подругой и оказалась легкой мишенью.

«С кем ссорилась?» – спросил кто-то. Женщины загалдели хором. «С девушкой по имени Эмма». «Невестой брата». «Да вы все ее знаете: ближайшая подруга, с самого детства, почти сестра». «Говорят, что так она и назвала ее напоследок: сестра». «Кто кого назвал?» Вопросы и ответы, предположения, все более невероятные, превратившиеся наконец в прямую ложь, поднимались вверх по лестнице и смолкали у ног Хосефы; вся в черном, та бестрепетно восседала на стуле подле гроба, где лежало тело ее дочери, на которое сыновья ей не разрешили взглянуть.

«Такая наглая!» «Я вытолкала ту девку с баррикады, а она остановилась на полпути. Прямо посреди улицы, будто бросала вызов Монсеррат». «Я тоже гнала ее прочь». «Дотуда, где она стояла, не долетали пули солдат!» «Там, позади, одна из наших считает, что она это нарочно». «Завидовала». «Кто?» «Да девка та!» «Вот гадина!»

Эмма провела ночь у тела подруги вместе с Хосефой, Далмау и Томасом, но не смогла вернуться после того, как забежала домой привести себя в порядок и надеть черное платье, которое соседка одолжила ей для похорон, назначенных на это утро. Дождь перестал, хотя серое небо угрожало новым зарядом. Барселона тонула в слякоти, казалась особенно грязной, и на улицах воняло хуже, чем обычно: из-за дождя стоки и колодцы переполнились и вода под почвой застаивалась.

Эмма шла под руку с кузиной Росой, обе решили не обращать внимания на шепот, сопровождавший их, пока они продвигались по улице Бертрельянс, где те, кто не поместился на площадке и лестнице, дожидались выноса гроба. Девушки обменялись вопросительным взглядом. Не может быть, молча согласились обе, они, наверное, недослышали... Немыслимо, чтобы это относилось к Эмме.

– Вы позволите? – вынуждена была спросить Роса у женщины, которая не давала им пройти на третий этаж.

На лестнице два человека не могли разминуться, и если сталкивались двое соседей, одному приходилось прижаться к стене, чтобы пропустить другого.

Женщина не сдвинулась с места.

– Простите, – настаивала Роса, – нам нужно наверх. Вы позволите?

– Нет, – прорычала та.

– Дело в том, что она...

Роса через плечо показала на Эмму.

– Мы знаем, кто она. Шлюха, виновная в смерти нашей соратницы.

Она плюнула в Эмму, но плевок попал на бедро кузины Росы.

– Что вы творите? Вы с ума?.. – изумилась Эмма.

Она не успела закончить вопрос, как еще две женщины показались из-за спины первой. Полные ярости, с лицами, искаженными гневом. «Убирайся». «Вон». «Мы не хотим тебя тут видеть!» «Убийца!»

Плевки, крики, оскорбления. Все больше и больше лиц оборачивалось к ним. Когда на девушек начали напирать, Роса в страхе отпрянула, и обе чуть не свалились вниз. Потом бегом выбежали из здания.

– Убирайтесь отсюда! – присоединились ждавшие на улице, когда кузины уже думали, что спаслись от революционерок.

– Это все неправда! – пыталась защититься Эмма; лицо ее пылало от гнева, точно так же, как и лица анархисток, изгоняющих их. – Я бы никогда не причинила вреда Монсеррат. Она была моей подругой.

Люди на улице вроде бы стали прислушиваться, но тут в дверях появились четыре активистки, полные решимости закончить начатое на лестнице. Не говоря ни слова, они набросились на Росу и Эмму с кулаками, толкали и пинали их. Никто не встал на их защиту. Эмма пыталась обороняться, Роса тоже, они даже и вернули кое-какие удары, но, увидев, что из парадного выходят еще женщины, предпочли сбежать.

Переполоха на лестнице и внизу, на улице, в квартире третьего этажа никто не слышал: люди, забыв о приличиях, громко переговаривались, ожидая момента, когда все отправятся на кладбище.

– И что нам теперь делать? – спросила Роса у кузины.

– Если Хосефе придется пережить скандал на похоронах дочери, я никогда себе этого не прощу. Давай лучше уйдем.

Она проплакала всю прошлую ночь. Страдала, вновь и вновь задавалась вопросом, насколько она виновна в смерти своей подруги Монсеррат. «Ты не имела права», – обвиняла та. «Предательница!» – бросила ей в лицо. И Эмма в ночной тишине, не смыкая глаз, из которых лились слезы, пыталась оправдаться, ведь она все делала только ради нее, ради Монсеррат; но сегодня толпа женщин, революционерок, преданных борьбе, как ее подруга, как и она сама когда-то, обвинили ее, ни на что не глядя. Все верно: если бы ее там не было, если бы она не встала посреди улицы, пытаясь убедить Монсеррат, пули не разнесли бы той голову. А если бы она не подменила подругу у монахинь, они бы не поругались. Не нужно было вмешиваться. Это утверждение она повторяла про себя, будто уча с монашками катехизис: вмешиваться было не нужно.

Наконец, не устояв перед чувством вины, необъятным и неуправляемым, Эмма, едва они отошли от улицы Бертрельянс, решила распрощаться с кузиной Росой, которая направилась вместе с анархистами на кладбище. «Ты куда?» – спросила Роса. Нужно кое-что сделать, отвечала Эмма, для погибшей подруги. Роса поняла, что других объяснений не дождется, и Эмма двинулась к исправительному заведению монахинь Доброго Пастыря.

Сестра Инес дает урок воспитанницам, сообщили ей у входа.

– Тогда я бы хотела видеть... – Эмма засомневалась, правильно ли она помнит, как нужно обращаться, но спорить с привратницей времени не было. – С достопочтенной матушкой настоятельницей.

– Достопочтенная мать настоятельница занята другими делами.

– Скажите ей, что это важно, очень важно, у меня срочное сообщение от дона Мануэля Бельо, того, что выпускает изразцы, – перебила ее Эмма, – того, что изразцы выпускает, – повторила она для пущей важности.

– Да в этом учреждении все знают, кто такой дон Мануэль Бельо. Жди тут.

– Надеюсь, это в самом деле важно. – Мать настоятельница сидела за столом в том же кабинете, где по-прежнему пахло затхлостью. – Я не собираюсь терять время зря.

– Я хочу отречься от веры! – выпалила Эмма.

Монахиня несколько секунд помолчала, чтобы скрыть удивление.

– Ты не можешь этого сделать, – сказала она наконец.

– Еще как могу! Не хочу быть христианкой! – вспыхнула Эмма. – Я – анархистка! Не верю ни в Бога, ни в Богоматерь, ни в...

– Дочь моя, – попыталась монахиня сгладить ситуацию, которая вот-вот могла выйти из-под контроля, – ты не можешь отречься, ты не христианка, тебя не крестили.

Эмма помнила, как сестра Инес говорила, что отречение в глазах Церкви – один из самых страшных грехов, и теперь спокойный тон настоятельницы и довод, который та привела, ее заставили поколебаться, но на одну секунду, не больше. Она настаивает на своем!

– Я не хочу иметь с вами ничего общего, – упорствовала она.

– И прекрасно.

– Хочу, чтобы вы порвали бумагу, где записаны мои данные.

– Нам нет никакой нужды ее хранить. Мы предадим ее огню, а сами станем о тебе молиться.

– Не хочу, чтобы вы обо мне молились! – вскричала Эмма.

– Бог нас учит...

– Бог ничему не учит вас! Бога нет! – заорала Эмма так, чтобы все исправительное заведение могло ее услышать. – Вы, гарпии, выдумали Бога, чтобы подчинить себе всех этих женщин, которые заперты здесь, заставить их работать на вас даром, служить богатеям, задиравать юбки и сгибаться перед господами, и не возражать, и не бороться с нищетой...

– Монсеррат уже уходит, – прервала настоятельница, обращаясь к монахиням, которые скопились у дверей кабинета, напуганные криками. Эмма продолжала сверлить ее взглядом. – Дочь моя, – продолжала настоятельница все тем же ласковым тоном, – или ты сейчас уйдешь, или мы задержим тебя и вызовем полицию. Тебе же будет хуже. Я услышала твое послание. Ступай с Богом.

– Опять вы с вашим Богом! – Эмма затрясла головой. – Да здравствует революция! – крикнула она, с вздетым кулаком пробираясь между монахинями. – Вот погребение, достойное тебя, Монсеррат, подруга... сестра! – шептала она, уже направляясь к выходу. – Вот почести, которые лично я тебе воздаю.

Траурное шествие, пересекая старый город и Раваль по направлению к юго-восточному кладбищу Монжуик, следовало за гробом без креста на крышке. Люди расступались, обнажали головы; некоторые по ошибке или сознательно осеняли себя крестным знамением, что порой вызывало нарекания со стороны скорбящих. «Она не была верующей!» – процедил анархист какой-то женщине. «Оставь эти заклинания для своих мертвецов!» – пробурчала другая какому-то старику.

Далмау шел за гробом, который несли на плечах Томас и еще три товарища, и поддерживал мать то за локоть, то за талию: Хосефа висела на нем мертвым грузом; следуя за телом дочери, она едва передвигала ноги и, казалось, вот-вот рухнет на землю. Он сам хотел бы упасть и лежать вниз лицом, чтобы гроб, за которым они шли, удалился из поля зрения, как будто это помогло бы умерить боль.

С тех пор как они вышли из дому, с трудом спустив гроб по лестнице, Далмау искал Эмму взглядом. Он не мог отойти от матери. И свою девушку не увидел. Может быть, она шла позади, хотя почему – непонятно. Его невеста должна быть здесь, рядом с ними, как член семьи. Далмау спросил у матери, но та не ответила. Он то и дело оборачивался. Спросил у одной из фабричных работниц: та на полдороге подошла к нему, прочитав беспокойство во взглядах, которыми он оглядывал толпу. Ее здесь нет, сообщила девушка, отойдя в сторонку,

пропустив тех, кто шел впереди, и потом вернувшись на свое место. Далмау не мог вообразить причины, которая могла бы объяснить отсутствие Эммы, разве что... разве что с ней что-нибудь приключилось, какое-то внезапное недомогание. Прошлой ночью, когда они сидели у тела после того, как власти выдали его, она, видел Далмау, была по-настоящему расстроена и не хотела с ним говорить. В самом деле, выяснив обстоятельства, при которых погибла его сестра, и обсудив детали погребения, они больше не обменялись ни словом. Она плакала не переставая, а когда рыдания стихали, погружалась в себя; Далмау не хотел нарушать эту скорбь. Вдруг она заболела... Далмау стиснул зубы и помотал головой; мать споткнулась, и это ему напомнило, о ком сегодня он должен заботиться прежде всего.

Дорога на кладбище, между склонами гор и берегом моря, была длинной. За верфями начинались сады, затем узкий проселок между морем и прибрежными скалами – это место называлось Моррот – постепенно поднимался в гору, до самого погоста. Далмау не нашел экипажа, чтобы перевезти гроб. Официально забастовка закончилась; на Эшампле появились шарманщики, что было воспринято как возвращение к нормальной жизни, и их механическая музыка сопровождала движение трамваев, которые и водили, и сопровождали военные; в порту снова начали разгружать уголь, в город стали поступать продукты, а на улицы высыпали продавцы газет, что генерал-капитан упорно считал основным признаком общественного примирения.

Лавочки, магазины, фабрики и заводы следовали той же тенденции. Рабочие не сдали позиций, ведь смысл заключался в том, чтобы заявить о себе, провозгласить свое достоинство. Претензии, и экономические, и касающиеся условий труда, были забыты. Конец забастовки воспринимался как праздник, и на третий день все уже ликовали, рабочие отмечали победу танцами и застольем. Металлурги, с чьих требований началась забастовка, вернулись на рабочие места, не добившись никаких уступок. Неделя всеобщей забастовки! Власти восхваляли гражданскую доблесть стачечников! Неделя, не имевшая никаких итогов, кроме погибших, число которых, по мнению тех, кто вел подсчеты, колебалось от десятка до ста с лишним, не говоря уже о множестве раненых и сотнях арестованных.

Забастовка привела к закрытию рабочих обществ и к чрезвычайному положению, которое длилось в Барселоне больше года: в город были стянуты войска, полиция получила подкрепление, дабы предотвратить новые стачки; что рабочие уж точно доказали, так это способность подняться на всеобщую забастовку, в чем, возможно, и состояло единственное достижение этой полной хаоса недели. Но, по правде говоря, истинным итогом стачки явился окончательный отрыв анархистского движения от рабочей массы; либертарии с треском провалились, бросив клич и ничего не добившись. Рабочие уже не станут вдохновляться их лозунгами, тем более не поверят в обещанное ими идиллическое общество. Нет, теперь борьбу за права пролетариев возглавят республиканцы.

Таким разочарованием, таким пессимизмом была окрашена речь, которую произнес Томас перед погребением сестры в общей могиле на ничейной земле, отделенной от освященной католической части. Далмау всем телом чувствовал, как мать содрогается от безмолвного плача; он хотел бы разделить ее горе, но более жгучее чувство мешало вслушиваться в разглагольствования анархистов. До какой степени он сам виноват в этой смерти? Далмау знал, из-за чего Эмма и Монсеррат поссорились на баррикаде. От стука земли, падающей на деревянную крышку гроба, у него скрутило желудок. Он едва сдержал позыв к рвоте. Мать посмотрела на него, он выпрямился. Далмау отказывался придавать ссоре между девушками, которую прервал случайный выстрел, поразивший Монсеррат, то значение, какое приписывал ей брат Томас.

– Ты намекаешь на то, что Эмма желала смерти Монсеррат? – спросил Далмау брата в больнице Святого Креста, пока они стояли перед дверью морга, ожидая, когда им выдадут тело сестры.

– Я утверждаю, что твоя невеста повела себя как дура, – сказал Томас. Далмау обескураженно развел руками. Не хотелось в такой момент ссориться с Томасом. – Ты обманул и меня, и Монсеррат, когда сказал, что отпала необходимость в этой евангельской чепухе, в этих уроках, на которые потом ходила Эмма...

– Тебя бы порадовало, если бы ее продолжали насиловать в тюрьме? – проговорил Далмау.

– Кто тебе сказал, что она не выбралась бы оттуда другим путем?! – кричал на него брат у дверей морга. – Люди выходят из тюрьмы, Далмау. Необязательно было заключать договор с дьяволом, как ты это сделал... от имени сестры.

– Ее насильовали! – твердил Далмау, сжав кулаки.

– Может быть, она вышла бы еще раньше, чем твоими стараниями, если бы апелляция Хосе Марии Фустера была принята во внимание. А это могло случиться! Предварительное заключение не имело под собой оснований. Девочка не совершила тяжкого преступления.

– Он подал апелляцию? – удивился Далмау.

– Разумеется! Несколько раз подавал...

– Но мне ничего не говорил об этом.

– Хосе Мария предпочитает не обнадеживать родственников. Его утомляет и огорчает, когда родственники, если что-то пойдет не так, на него возлагают вину. Это ты не обсудил с нами то, что собирался предпринять. Если бы ты нас посвятил в свои планы, она, возможно, сейчас была бы жива.

Томас стоял на своем, хотя тогда Далмау не придавал этому значения. Теперь другое дело. Теперь его подтачивало изнутри осознание того, что брат, возможно, в чем-то был прав.

Еще лопата земли. И еще одна. Двое могильщиков, грязных и беззубых, засыпали могилу, искоса поглядывая на скорбящих, прикидывая, насколько те окажутся щедры, какие можно получить чаевые. Никаких чаевых не было.

Прощание с собравшимися вылилось в страстную муку для Хосефы, хотя она стоически выносила рукопожатия, соболезнования, революционные лозунги и призывы к борьбе, даже неуместные выкрики с вздетыми к небу кулаками в память Монсеррат. Дело анархистов лишило ее супруга и дочери. О смерти мужа она узнала из писем товарищей, таких же изгнанников, и оплакала его на расстоянии, перед небесами поклявшись быть верной рабочей борьбе и революции. Когда люди уже потянулись прочь и сыновья вознамерились увести и ее тоже, Хосефа подняла сжатый кулак на уровень виска, не выше, и стала напевать «Марсельезу», изо всех сил стараясь, стоя у края могилы, где покоилась ее дочь, хранить гордую осанку, борясь с дрожью, охватившей и ноги ее, и руки, особенно ту, которую она пыталась поднять. Далмау с Томасом и те, кто еще не направился к выходу, застыли в молчании, чувствуя, как мурашки пробегают по телу и к горлу подступает ком; никто не осмеливался подхватить гимн, будто этим нарушилась бы тесная связь между матерью и дочерью.

Закончив петь, Хосефа устало опустила руку и повернулась к сыновьям. Далмау не мог допустить, чтобы мать шла пешком, он и сам чувствовал, что не в состоянии проделать обратный путь: у него подгибались колени, он был изнурен, опустошен смертью сестры; теперь, после похорон, эта смерть впервые предстала перед ним во всей своей жестокости как невозвратимая потеря... К неизмеримой боли примешивалось беспокойство из-за отсутствия Эммы. Он предложил сесть на трамвай до Ла-Рамбла, не всем, конечно, только небольшому количеству людей, поскольку речь шла о маленьком вагоне на конной тяге. Томас отказался.

– Трамваи до сих пор и ведут, и защищают военные, – презрительно заявил он.

– Тем лучше, – ответил Далмау, по горло сытый политическим максимализмом, – мы сэкономим деньги. Когда военные водят трамваи, проезд бесплатный.

Бертран открыл столовую, но Эммы там не было. «Не знаю, – отвечал он на вопросы Далмау, – я думал, она с вами, на похоронах». Потом, у квартиры ее дяди, никто не откликнулся на стук. «Эмма?» – крикнул Далмау, приложив губы к двери. Тишина. Крикнул еще раз. Ничего. Где она может быть? Далмау понимал, что Эмма провела ужасную ночь у тела подруги, в слезах и беспросветном отчаянии. «Может быть, она хотела побыть одна», – сказал он себе, возвращаясь в столовую.

– Пожалуйста, пошлите мне весточку с каким-нибудь мальчишкой, если она появится, – попросил он Бертрана.

Потом отправился на фабрику изразцов. Мать оставил дома, за швейной машинкой.

– У меня много работы, – сказала она на прощание.

– Не хочешь, чтобы я остался? – спросил было Далмау.

– Нет. Пойди выясни, что случилось с Эммой. Обо мне не беспокойся.

У него тоже было много, очень много работы. Рабочий люд Барселоны переживал тяжелые времена. Безработица и нищета грозили большей части населения. Благотворительные учреждения, в основном находившиеся в ведении Церкви, не справлялись со своей задачей. Нуждающимся ежегодно предоставляли тысячи порций еды, и тысячи нищих, всех возрастов и обоих полов, подбирали с улиц и помещали в приюты и дома призрения. Экономический кризис привел к неисчислимым потерям среди рабочего класса, как среди тех, кто продолжал трудиться, так и среди тех, кто работу потерял.

Тем не менее рядом со всей этой нищетой возрастал класс промышленников и богатых буржуа, стремившихся показать себя, подняться над себе подобными. Когда в середине XIX века снесли стены, окружавшие Барселону и отмечавшие пространство, где нельзя было возводить здания из соображений обороны – оно простиралось на пушечный выстрел, – графская столица получила огромные неосвоенные территории. Урбанизацию всей этой зоны осуществил военный инженер Ильдефонсо Серда, составивший план в соответствии со строгими критериями единообразия; его ославили провинциальными многие архитекторы, интеллектуалы и артисты; в самом деле, застройка его оказалась простой и безликой.

Когда был принят план, в соответствии с которым Серда разделил барселонский Эшампле на правильные квадраты, архитекторы возмутились: стало быть, нужно, чтобы выделялись отдельные здания; они, монументальные, фантастические, станут лицом нового пространства, где богачи начнут строить свои жилища. Модерн, конструктивное преломление стиля ар-нуво, заполонившего весь западный мир, явился новым словом в барселонской архитектуре.

В том 1902 году осуществлялись три крупных проекта двух великих архитекторов модерна. Доменек-и-Монтанер приступил к строительству новой больницы Санта-Креу-и-Сан-Пау, а также к перестройке дома Лео-и-Мореры в том же квартале Пасео-де-Грасия, где высился дом Амалье архитектора Пуч-и-Кадафалка, который вскоре начнет работы над Домом с Пиками на проспекте Диагональ, огромным строением в неоготическом стиле, предназначенным для трех сестер и увенчанным тремя башенками с коническими острями. В то время Гауди, третий гений модерна, не работал на Эшампле: он строил башню Бельесгуард, работал в Парке Гуэль и возводил храм Саграда Фамилия.

Но рядом с тремя великими мастерами работало много профессионалов, которые оставили чудесный и неизгладимый след на Эшампле в городе, который поднялся на борьбу с пошлостью, используя для этого архитектуру. Виласека строил на Рамбла-де-Каталунья и на улице Рожер-де-Льюрия; Бассегода – на улице Мальорка; Доменек-и-Эстапа – тоже на Рамбла-де-Каталунья; плодовитый Саньер – на улицах Бальмес, Дипутасьон, Пау-Кларис и на Рамбла-де-Каталунья; Ромеу-и-Рибо – на улице Арибау... Также и многие другие воплощали модерн в творениях, магический стиль которых не имел аналогов в мире.

Такие стройки предполагали огромный объем работ для фабрики изразцов дона Мануэля Бельо, и Далмау, как первый его заместитель, выполнял самые важные заказы. Фабрика

открылась, хотя дон Мануэль еще не вернулся из Кампродона, где вместе с семьей нашел себе убежище.

Пытаясь отрешиться от состоявшихся этим утром похорон, Далмау надел халат, сел и склонился над рисунками, которые лежали на столе. Те, на которых запечатлелось лицо Монсеррат, те, что он сделал во время всеобщей забастовки, Далмау бережно собрал; слезы, которые не пролились на похоронах, теперь свободно заструились из глаз. Он свернул рисунки и спрятал вместе с другими личными работами, какие держал у себя в кабинете. Снова сел. Глубоко вздохнул, вытер слезы, высморкался. Взял карандаш и без особой охоты нарисовал женскую фигуру. Им заказали проект эксклюзивной панели с изображением женских фигур; ее установят в пролете лестницы, ведущем на парадный этаж здания, строящегося на Рамбла-де-Каталунья. Фигуры стилизованные, томные, парящие и прозрачные, будут сопровождать того, кто пойдет по этой лестнице. Идеал современной женщины, ничего общего не имеющий с образцами прошлых эпох. «Как они не похожи на Эмму... и на Монсеррат!» – подумал Далмау. Провел линию, еще одну и еще. Начал сызнова. Ничего не получилось. Время от времени глаза у него затуманивались и рука дрожала, когда он вдруг осознавал, что никогда больше не увидит сестру. Сколько раз он не делал того, что она просила! Нужно было написать ее нагой, когда ей так этого хотелось. Он предался воспоминаниям и увидел ее юной, сияющей, с веселой улыбкой на устах. Монсеррат бы сама себе понравилась, восхитилась бы своим женственным телом, но он не исполнил просьбу, сплеховал... как и во многом другом, тогда незначительном, а теперь непоправимом. Он снова попытался придать жизнь феям. Один из сотрудников зашел в мастерскую за угольками и взглянул на рисунки.

– Здорово, – похвалил он.

Ничего подобного. Далмау это знал: рисунки посредственные, попросту пошлые.

Пако принес обед. Курицу с рисом он съел уже ближе к вечеру, когда она остыла, а рис слипся комками. Зато вино выпил. Одного из ребяташек, которые болтались на фабрике, попросил принести еще фляжку, прикончил и ее тоже. Позже Бертран прислал весточку, что Эмма вернулась на работу. Там, дожидаясь, когда она закончит смену, Далмау пропустил еще несколько стаканов. Эмма высунула голову из кухонной двери и тут же вернулась к своим трудам; Далмау даже не понял, кивнула она ему или нет. Бертран со своей стороны рассыпался в соболезнованиях и, не зная, как иначе выразить сочувствие, то и дело подливал ему вино в стакан. Потом уходил на свое хозяйское место, а Далмау оставался сидеть один за столиком, в окружении болтливых едоков, громко обсуждавших стачку. Спиртное и забастовка. Воспоминания. Заговорили о перестрелках. Кто-то даже затарахтел, подражая пулеметной очереди. Далмау вздрогнул всем телом при мысли, что одна из таких пуль разворотила лицо Монсеррат. Это он видел сам: лицо сестры. Они с Томасом ходили в морг опознавать ее, бледную, изуродованную. Далмау выпил и сделал Бертрану знак, чтобы налил еще.

– Ты не пришла на похороны, что с тобой стряслось? – набросился Далмау на невесту, когда та появилась в зале.

Эмма бросила взгляд на пустую фляжку.

– Будто не знаешь? – спросила она недоверчиво.

– Нет, – признался он.

Эмма скривилась и больше не отвечала на вопросы, которые задавал Далмау, еле ворочая языком. Ни у одного из них не хватало духу взяться за руки или поцеловаться.

– Давай прогуляемся? – предложил Далмау.

Эмма пожала плечами, но пошла следом за Далмау, попрощавшись с Бертраном. Они шли молча, Эмма, завернувшись в черный платок, защищавший от холода; Далмау в пиджаке и неизменной шапочке. Понутив головы, они направились на Паралелль, где в толчее все еще мелькали солдаты, следившие за порядком. Открылись двери кафе, кричали торговцы вразнос, театры и варьете заманивали зрителей, целую неделю обходившихся без развлечений.

Они вошли в шумное кафе. Свободных столиков не было, и они устроились у стойки, между другими посетителями, которые пили и болтали. Эмма попросила кофе с молоком, погорячее, а Далмау, поколебавшись немного, решил, что выпьет еще вина. На ходу он вроде бы протрезвел, но впечатление было обманчивым. Первый глоток спиртного, выдающего себя за кларет, упал в желудок раскаленным камнем; рассудок вновь затуманился, речь и движения замедлились. Эмма заметила его оцепенение еще до того, как он заговорил.

– Ты объяснишь мне, что произошло? – промямлил он. – Я тебя повсюду искал.

Далмау повысил голос, чтобы перекрыть гвалт, но получилось громче, нежели то было необходимо. Мужчина, расположившийся у стойки рядом с Эммой, повернулся к нему.

– Все соратницы твоей сестры, даже соседи, стоявшие на улице, винили меня в ее смерти, – сказала Эмма.

Он, удивленный, попытался вскинуть голову, но чуть не потерял равновесие. Сделал еще глоток, думая, как на это ответить. Эмма прикидывала, попенять ли ему за пьянку или вывести на улицу, на холодок, но так приятно было держать обеими руками большую чашку обжигающего кофе с молоком. Если Далмау хочет напиться, это его дело.

– Неправда, ты не виновата, – ответил он наконец, борясь с винными парами. – Сама знаешь. Виновата только моя сестра: это ее понесло на баррикаду... Мы сделали то, что должны были сделать, ведь так? Вызволили ее, прикрыли ей спину. С того момента перед Монсеррат были открыты многие пути... и она выбрала неверный. Почему ты не сказала мне об этом на похоронах, а взяла и просто ушла? – спросил он под конец, повышая голос.

Просто ушла! Так он и сказал: «просто ушла»? Их били, оплевывали и оскорбляли, их прогнали прочь, ее и Росу. Эмма покачала головой: какой смысл отвечать? Покинув исправительное заведение монахинь Доброго Пастыря, до того как укор совести не вонзил опять свое острое жало, Эмма короткое время чувствовала, что освободилась, распрощалась от имени Монсеррат со всеми враками и бесконечными религиозными догмами. Она раздумывала, не рассказать ли об этом Далмау, но, учитывая его проспиртованное состояние, решила, что лучше не надо. Святоша дон Мануэль наверняка взбесится, но ей-то какое дело. Пора Далмау расстаться с этим буржуем, католиком и реакционером; безусловно, ее жених может найти лучшую дорогу в жизни. Обо всем этом они поговорят в другой раз.

– Почему? – прервал Далмау ее размышления.

– Что – почему? – спросила Эмма, начиная терять терпение.

– Почему ты не поделилась со мной своим чувством вины? Я...

Эмма задумалась на мгновение.

– Говори что хочешь, но, если бы ее снова посадили, откажись я ходить к монашкам, вина была бы на мне. Я тебе уже говорила. Но и в ее смерти я виновата. Если бы я не лезла к ней с разговорами на баррикаде, если бы сообразила, насколько это опасно... Конечно, я виновата в том, что ее застрелили.

– Нет!

В этот раз на крик Далмау обернулся не только мужчина по соседству с Эммой, но и многие другие.

– Да, Далмау, – подтвердила Эмма, не обращая внимания на любопытных. – Я виновата.

«И ты тоже», – хотела бы она бросить ему упрек; если бы он не подладался под требования дон Мануэля, если бы не предложил ей заменить Монсеррат...

– Ты поступила хорошо, – утешал ее Далмау заплетающимся языком, с мутным, блуждающим взглядом, абсолютно чуждый тому внутреннему конфликту, какой переживала Эмма в этот момент. – Ее насильовали. – Далмау перешел на сбивчивый шепот, чтобы окружающие не узнали о позоре сестры. – Насильовали, – повторил он. – Ты ее видела, обмывала ее...

После напряжения этого долгого дня Эмма, увидев воочию, как ее подруга стоит голая на полу и с нее стекают струйки воды, окончательно лишилась сил. Она помотала головой, как

тогда, когда подтирала пол и мыла ноги Монсеррат. Нет, дело не в том, что ее насильовали, все гораздо сложнее.

– Что не так? – спросил Далмау, сделав очередной изрядный глоток.

– Мы не должны были вторгаться в жизнь Монсеррат.

– Что ты такое говоришь? – Далмау пытался сфокусировать взгляд, но хмель ему застилал глаза.

– Это самое: мы должны были отойти в сторону. Она так хотела. И сказала тебе...

– Ее насильовали! – повторял он как заведенный.

– Она тебе сказала, что не хочет катехизиса, что не собирается подчиниться требованиям твоего учителя. Что предпочитает...

– Умереть? – перебил Далмау. – Стать шлюхой?

Эмма нахохлилась, поджала губы.

– Да, – решила ответить, когда в памяти ожило лицо подруги за секунду до того, как пули разорвали его. В нем ясно читались решимость, самоотдача, способность к жертве... Воля к борьбе! Монсеррат никогда не опустила бы до той пародии, в какую вовлек их буржуазный дух покровительства. – Да, предпочла бы умереть! – взорвалась Эмма. – Предпочла бы поругание тела насилью над свободным духом. Предпочла бы...

– Ты с ума сошла! – Далмау швырнул стакан на пол, схватил Эмму за локти и грубо встряхнул. Чашка вылетела у нее из рук, кофе с молоком пролилось на одежду. – Моя сестра не владела собой!

– Отпусти девушку! – велел мужчина, стоявший рядом.

Помимо бармена за стойкой, вокруг них уже собралась порядочная толпа.

– Монсеррат знала, что делает, – продолжала Эмма без сочувствия и страха. – Не то что мы.

– Отпусти ее! – кричали собравшиеся.

– Скажи им, чтобы не встречали, – велел ей Далмау, отмахиваясь от окружавшей толпы.

Эмма взглядела в покрасневшие глаза жениха. Понятно, что он топит в вине угрызения совести. «Ее насильовали, насильовали, насильовали» – вот оправдание, чтобы не идти до конца.

– Далмау, – проговорила она размеренно. Тот ее отпустил, решив, что ссоре конец. – Мы оба виноваты.

– Нет, – стоял он на своем. – Хочешь взять на себя ответственность, дело твое. Я не хочу. Не обвиняй меня в том, что... – Далмау умолк, увидев, что окружен людьми. – Не смей меня обвинять! – тут же завопил угрожающе, и двое из тех, кто стоял кольцом вокруг пары, чуть не набросились на него.

– Ты пьян. Оставь меня в покое. Уходи. – Эмма пыталась вразумить его, прервать угрозы, утихомирить посетителей, вставших на ее защиту.

– Так его, девочка! Ничего не потеряешь, – вклинился один из них.

Кто-то захохотал.

– Пьянчуга, – припечатал хорошо одетый мужчина и потащил Далмау к выходу.

– Мать твою! – вывернулся тот и, пошатываясь, ринулся на обидчика.

Тот даже не стал уклоняться от удара, который не достиг цели. Теперь хохотали все.

– Далмау! – решила вмешаться Эмма.

– Заткнись! – Далмау нанес еще один удар вслепую и на этот раз попал, но по лицу Эммы, которая как раз подходила к дерущимся. Как Далмау ни был пьян, до него дошло, что он совершил непоправимое, и слова застряли в горле.

– Я не хочу тебя больше видеть, Далмау. Забудь обо мне, – взорвалась Эмма, поднося руку к лицу.

Далмау не успел ничего сказать. На него набросились, и после первых двух ударов он рухнул на пол. Нападавшие подождали, пока он попытается встать, и стали бить его ногами. Потом

заставили ползти к двери на четвереньках, плевали, хохотали, свистели... А Эмма горько плакала.

Далмау уже давно не виделся с Эммой. Он приходил в столовую просить прощения за то, что ударил ее, за то, что напился, и поговорить о том, кто и насколько виновен в смерти его сестры. Он пришел потому, что любил ее и скучал по ней, но Бертран его не пустил. «Она не желает тебя знать, – заявил Бертран. – Тебя здесь всегда привечали, Далмау. Так не создавай теперь проблем». Он ждал, пока Эмма закончит работу, но ее всегда кто-нибудь провожал. Далмау знал, что она регулярно заходит к нему домой посидеть и поболтать с его матерью; она-то и попросила сына не преследовать девушку.

– Она очень переживает из-за смерти Монсеррат, – сказала Хосефа, поднимаясь из-за швейной машинки и направляясь в кухню, чтобы сварить кофе. По тому, как она двигалась, Далмау понял, насколько мама устала. – Да... она не хочет тебя видеть. Не досаждай ей, пожалуйста. Ты ведь знаешь, она мне как вторая дочь. Я уже достаточно настрадаюсь, Далмау. Дай нам передышку.

– Но то, что она сказала... – начал было он.

– Знаю я, что она сказала, – перебила мать. – Она мне все выложила. Знаю, что она думает. А главное, что чувствует.

– Она винит меня в смерти Монсеррат! – вскричал Далмау. Хосефа промолчала. – Может, и ты тоже?

– Не мне судить, сынок, но чувство вины, как все чувства, нам неподвластно, оно не подчиняется разуму. Эмма себя чувствует виноватой. Время покажет ей другие точки зрения, которые сейчас скрывает боль. Так или иначе, только ты сам можешь чувствовать или не чувствовать за собой вину. Не важно, что говорят другие.

Далмау еще раз попытал счастья в доме, где жил Эммин дядя. Такая настырность привела к тому, что он наткнулся на одного из кузенов, который, как и отец, работал на бойне и таскал на спине четверти разрубленных туш. Эмма не хочет видеть его. Назойливые расспросы Далмау в конце концов разозлили кузена, и бывшему жениху пришлось отступить на пару шагов, упрямить амбала успокоиться и в бешенстве удалиться.

С той поры он погрузился в работу, правда, не оставил намерения поговорить с Эммой. Он искал встречи с кузиной, болтался поблизости от столовой, подкатывал к подругам, пока однажды вечером не столкнулся с Эммой нос к носу. Она обогнула его. Далмау не решился ее остановить, несколько минут шел рядом и умолял, твердил: «Прости меня». Эмма не удостоила его ответом. Он прошел еще несколько метров, продолжая вымаливать прощение. Эмма не откликнулась ни словом, ни жестом. После этого Далмау отступился и нашел прибежище в работе: только творчество давало успокоение, которого он не находил в мыслях о бывшей невесте. Правда, перестал ходить к пиаристам, несмотря на мольбы преподобного Жазинта и некоторое давление со стороны дона Мануэля. «Я сейчас не в состоянии, – оправдывался он, – может быть, позже».

– А катехизис? – забеспокоился учитель.

Об этом Далмау не подумал.

– Моя сестра была анархисткой и атеисткой всю свою жизнь. Какую пользу принесло ей то, что она приблизилась к Богу? Именно тогда она и погибла.

Дона Мануэля так и подмывало поговорить с ним о его сестре, о Монсеррат. Вернувшись в Барселону по окончании забастовки, он первым делом наткнулся на письмо матери настоятельницы монастыря Доброго Пастыря, в котором она излагала в подробностях все, что выкинула Монсеррат, опуская лишь, подчеркивала монашка, богохульства, извергнутые девушкой напоследок. Потом одна из горничных рассказала, что сестру Далмау застрелили на баррикаде. «Какая кара за кощунственные и богохульные речи!» – связал дон Мануэль эти две новости,

осеняя себя крестным знаменем. Он поделился этим с преподобным Жазинтом, тот внимательно прочел письмо, и оба решили не усугублять скорбь Далмау.

– Искренне соболезную кончине твоей сестры, – сказал ему учитель, едва они встретились на фабрике: тогда Далмау еще не прекратил ходить к пиаристам. – Передай мои соболезнования твоей матери и прочим родным.

А теперь сам Далмау усомнился в божественном милосердии. Мануэль Бельо решил не поднимать этот вопрос. Его сестра уже заплатила за свою дерзость, что же до Далмау, то, пусть он и не обратился, панель с феями расхваливали архитекторы и керамисты, что повышало репутацию фабрики изразцов. Еще будет время привлечь юношу к Церкви.

Далмау сдал работу, но не был уверен в успехе. Она по-прежнему казалась ему вульгарной, не вызывала никаких особенных чувств. В отличие от рисунков на японские темы, предназначенных для серийного производства, панель была единственной в своем роде, поэтому использовались не многочисленные шаблоны из восковой бумаги, а единый сетчатый трафарет в натуральную величину, выполненный самим Далмау. Этот трафарет наложили на изразцы и присыпали угольной пылью, чтобы обозначить рисунок; оставалось только расписать их вручную и снова обжечь.

Изразцы, уже на завершающем этапе строительства, доставили в здание, расположенное на Рамбла-де-Каталунья, тенистом бульваре, идущем параллельно Пасео-де-Грасия: многие считали это место самым престижным в Барселоне. Из просторного вестибюля высотой более пяти метров массивные двери из кованого железа и стекла вели в конюшенный двор. Уже и на входе царил модерн, главенствующий в архитектуре эпохи: мозаичный пол и мраморная лестница, ведущая на второй, основной этаж, где обычно жили владельцы дома. На каждом этаже имелись балконы, парящие над улицей и над парадным входом: идеальные места для наблюдения за городской суетой. У подножия лестницы, которая, как убедился Далмау, на верхних этажах, где квартиры сдавались внаем, теряла в своем великолепии, а в мансарде, где жили швейцары, и вовсе сводилась к деревянным ступеням, стояла фигура летящей женщины из белого камня; ее линии, простые и чистые, тем не менее впечатляли; отсюда начиналась великолепная балюстрада с резьбой на цветочные мотивы. Повсюду в вестибюле – настоящий парад резного дерева ценных пород: настенные плафоны, кабина швейцара, софиты на потолке; кроме того, железные светильники филиграннойковки и огромный цветной витраж, отделяющий лестничную клетку от светового двора. И среди всего этого, напротив балюстрады, панель, рисунок для которой создал Далмау: воздушные феи, провожающие и сопровождающие всякого, кто поднимался на основной этаж. Эти женские фигуры с металлическим блеском, который появился после обжига расписанных изразцов, ни в колорите, ни в ярком зрительном впечатлении не уступали другим декоративным элементам, выполненным лучшими в Барселоне мастерами прикладных искусств.

Далмау снял пиджак, засучил рукава и вместе с другими мастеровыми принялся устанавливать панель, вникая в каждую деталь, вмешиваясь, если нужно. Он досконально знал свое ремесло. Потом взгляделся в свое творение. Восторги не поколебали его первоначального мнения: чего-то тут не хватало, не красоты, наверное, и, наверное, не искусства; возможно, складывалось впечатление, что чувства автора, его внимание, его любовь не были вложены в эту работу, а пребывали вдали от нее; не получилось непреложной сопричастности художника и его создания. Монсеррат, Эмма, даже мать похитили все его чувства, все эмоции. Это не помешало Далмау отпраздновать успех своих фей вместе с учителем, архитектором, многими другими профессионалами и владельцем строящегося дома на Рамбла-де-Каталунья, богатым промышленником и банкиром, который оплатил все работы, а также устроил за свой счет роскошный ужин в ресторане «Гранд-Отель Континенталь».

– На тебе нет галстука, – упрекнул дон Мануэль, оглядев костюм Далмау, когда дон Хайме Торрадо, владелец здания, предложил отметить событие в ресторане, одном из самых популярных среди барселонской буржуазии.

– А как иначе, – ответил Далмау. – На моей рубашке нет воротничка, не на чем завязать галстук.

– Зато на тебе пиджак, – послышался позади голос дона Хайме, – и этого достаточно: кто посмеет не пустить в ресторан творца, создавшего произведение искусства, которое мы сегодня водрузили в моем доме? Видные художники и архитекторы считают, – добавил он, кладя руку на плечо Далмау, и это показалось юноше жестом чрезмерным и немного стесняющим, – что для продвижения в такого рода работах необходимо владеть рисунком. У тебя есть рисунки, можешь их показать?

– Есть, есть у него рисунки, – вклинился дон Мануэль, хвастаясь ими, будто своими собственными.

– Интересно было бы посмотреть, – заявил банкир.

– Когда пожелаете, – снова вмешался дон Мануэль, взяв на себя главенствующую роль. – Моя фабрика и все коллекции в вашем распоряжении.

До Рамбла-де-Каналетес, где на углу рядом с площадью Каталонии располагался «Гранд-Отель Континенталь», было недалеко, все пошли пешком. Далмау немного отстал от остальных, следуя, словно по инерции, за компанией мастеров, сыпавших остротами. Он думал о рисунках. Конечно, у него есть рисунки! Во множестве! И картины тоже. Еще он неоднократно покушался на глину, лепил из нее фигуры и обжигал в печи. Все хранилось у него в мастерской. Учитель знал эти работы, хвалил их, воодушевлял юношу, обещая, что когда-нибудь устроит ему публичную выставку, где проявится его талант. Нужно работать, подстегивал он Далмау: работать, работать и работать. Далмау не спорил с доном Мануэлем, но ценил не столько сверхурочную, неустанную работу, какой зачастую требовала фабрика изразцов, сколько труды, пусть тяжелые и упорные, которые просто завладевали воображением и приносили радость.

Прошлым вечером, в очередной раз проверив панель, которую должны были перевезти и установить на следующий день, Далмау заперся в мастерской. Домой, где его ждал стук швейной машинки, идти не хотелось, и он всячески откладывал этот момент. Крикнул Пако, чтобы тот принес чего-нибудь поесть. Старик не отозвался, вместо него явился один из живших на фабрике мальчишек.

– Пако пришлось ненадолго отлучиться, – ответил паренек на вопрос Далмау. – Приходила его сестра. Дело срочное. Что-то стряслось с каким-то вроде бы родичем. Старикан совсем разволновался.

Далмау рассмотрел грязное лицо мальчишки, неопрятные волосы, слипшиеся, вставшие дыбом; тусклые, ввалившиеся глаза. Был он малорослый и щуплый, поскольку, как все уличные дети, недоедал.

– Ну-ка, замри, – велел Далмау.

Паренек застыл на месте. Далмау взял лист бумаги и стал рисовать это лицо. Пытался передать глаза, их печаль... нет, наверное, это не печаль, а разочарованный и трезвый, лишенный иллюзий взгляд на жизнь, на целый мир, включая людей и Бога, того самого Бога, к которому учитель призывал являться каждое воскресенье.

Теперь, в обширном зале ресторана, электрический свет, в котором сверкала позолота на лепнине и на рамах картин, висящих на стенах, отраженный в многочисленных зеркалах, ослепил Далмау, контрастируя с полумглой газового освещения, при котором он рисовал портрет мальчика, не выходящий у него из головы. Приглашенные уселись за длинный стол, набралось больше дюжины человек. Льняные скатерти, фарфоровая посуда, серебряные приборы, бокалы тонкого хрусталя, официанты, одетые лучше, чем иные из гостей, и среди всего этого Далмау: в итоге он занял место на нижнем конце стола, далеко от банкира и дона Мануэля, между сек-

ретарем сеньора Торрадо, человеком скованным и молчаливым, и помощником архитектора, студентом, изучающим архитектуру; он был немного старше Далмау и не уставал нахваливать творения своего учителя.

Далмау был ошеломлен окружающей роскошью, но не так ей радовался, как мальчишка, прошлым вечером получивший десять сентимо только за то, что позволил себя нарисовать. Паренек схватил монету и обогнул стол, чтобы посмотреть на рисунок Далмау: глаза, только глаза, маленькие, без бровей, без век... Единственная линия, изгибаясь там, где должен быть подбородок, намекала на лицо, которое должно было их обрамлять.

Далмау не стал поддерживать беседу, которую пытался завязать студент справа, и замкнулся в том же сдержанном молчании, что и сосед с другой стороны. Смотрел на тарелку, стоящую перед ним, салфетку, серебряные приборы, сколько их, для чего так много? – на хрустальные бокалы... Мальчонка сжал монету в кулаке, словно боялся, что ее отнимут; десять сентимо, целое сокровище! Гул голосов вырвал Далмау из воспоминаний, когда подали первое вино, «Шлосс Йоханнисберг», немецкое белое; он отпил всего несколько глотков, ибо последствия его прошлой пьянки еще бередили душу, а встреча, которую он подготовил для нынешней ночи, подстегивала его. *Bisque d'écrevisses à la française*⁹. Рыбный суп, определил Далмау по запаху, когда подали первое блюдо. «Речные раки» – подсказал секретарь, видя, как Далмау разглядывает содержимое своей ложки. Суп оказался вкусным.

– Вы еще будете меня рисовать? – спросил паренек.

Далмау никогда не пробовал супа из речных раков. Мальчишка ожидал ответа с улыбкой на губах.

– Ты чего улыбаешься? – спросил Далмау. Ребенок раскрыл кулачок, в котором сжимал монету. Насчет глаз Далмау ошибся: они блестели. Художник почувствовал себя обманутым. Он много раз говорил, даже шутил с этим пареньком, кажется, его зовут Педро... или Маурицио? Далмау их не различал. «Нет, не думаю, что буду еще тебя рисовать», – ответил он.

Мальчик стер улыбку и пощелкал языком, сетуя на судьбу. И вдруг спросил:

– Вы хотите рисовать детей, которые не улыбаются?

За супом последовал *saumon du Rhin*¹⁰, и Далмау отважился выпить еще немного белого вина. С приборами управлялся, поглядывая на секретаря. За столом завязалась беседа: политическое положение, всеобщая забастовка, недовольство рабочих, экономический кризис, возвышение республиканцев и отторжение анархистов, – но вот принесли третье блюдо, *filet de boef à la Richelieu*¹¹. Телятина, жаренная с вином, салом и помидорами, к ней овощи и зелень, и красное вино, тоже французское, «Шато д'Икем»: барселонские богачи не пьют испанской бурды. «Дети, которые не улыбаются». «Этого ты хотел?» – спросил он себя с бокалом бордо в руке. И ответил – да. Наверное, ему нужен кто-то такой же грустный, как он сам, способный разделить чувства, угнетающие его дух; мир фей, женщин утонченных и хрупких, глубоко его уязвлял.

– Я знаю многих *trinxeraires*, – начал мальчишка, и Далмау кивнул. – Но и мне вы что-нибудь заплатите, ладно?

Далмау кивнул снова. Потом, когда паренек вышел из мастерской, порвал рисунок, изображавший глаза.

На десерт – ананас или пирожные, на выбор, в золотой тележке, которую официанты подвозят к столу. Далмау выбрал шоколадное. Шампанское, «Моэт и Шандон», сладкие вина и ликеры для желающих, гаванские сигары. Далмау взял одну и положил в карман пиджака, поскольку сам не курил. Шампанское попробовал, почувствовал, как пузырьки лопаются во

⁹ Крем-суп из речных раков по-французски (фр.).

¹⁰ Рейнский лосось (фр.).

¹¹ Говяжья вырезка а-ля Ришелье (фр.).

рту, достигая неба. Новое ощущение, слишком свежее, слишком игривое, стерло из памяти образ мальчика с грустными глазами, который так растрогал его накануне и не отпускал весь вечер.

Двадцать семь песет с человека. Цена за ужин вертелась у него в голове во время всего пути от «Континенталья» до фабрики. Ночь уже опустилась, и на Пасео-де-Грасия загорелись огни. Яркое солнце днем, освещение ночью, будто это – другой мир, другой город, и он открывается сразу за площадью Каталонии, грязной, зловонной, сырой и темной, всегда темной. В этот темный город, однако, погрузились иные из сотрапезников, желающие развлечься в какой-нибудь таверне, где женщины поют и пляшут под пианино, а может, и попросту сходить в бордель. Когда кто-то из компании его пригласил, Далмау отказался.

Двадцать семь песет. Это сообщил с укором секретарь банкира после того, как помог ему оплатить счет. Растолковав Далмау, что суп сварен из раков, и односложно ответив еще на какие-то вопросы, которые ему задавали, этот человек не сказал больше ни слова, только озвучил цену, двадцать семь песет, причем с такой злостью, будто Далмау и студент архитектуры – а только они его и слышали – не имели права на такие траты. «Знал бы я, – пошутил студент, – вернул бы какое-нибудь блюдо». Потом рассмеялся, ожидая, что и Далмау воспримет шутку, но нет. Тот, наоборот, нахмурился. «Разве не так устроен мир?» – так и подмывало его ответить. Двадцать семь песет – это девять рабочих дней каменщика. Триста с лишним песет, в которые обошелся банкиру званый ужин, составляют пятую часть суммы, которую учитель одолжил Далмау, чтобы избавить его от военной службы. Двенадцать лет его жизни стоят столько же, сколько пять таких ужинов; да, в самом деле, он не имел права... но как все было вкусно!

Эти песеты, воспоминания об изысканных ароматах и вкусах и мысли о том, как было бы славно рассказать об ужине Эмме, сопровождали его на всем пути. Эмма разносила блюда, но всегда стремилась работать на кухне: она бы слушала его с восхищением, переспрашивала, брала на заметку. Суп из речных раков! Французское шампанское! «Говоришь, оно щиплетя?» – точно спросила бы она. При мысли, что ее больше нет рядом, у него все сжалось внутри. Далмау еще не до конца верил в произошедшее. События развивались стремительно: арест Монсеррат, монашки, гибель сестры; все это создало между влюбленными невыносимое напряжение. Но этим вечером Далмау был полон оптимизма: нужно еще немного подождать, а потом попытаться снова. Он улыбнулся, и тоска, теснившая грудь, отпустила, когда он представил воочию, как они с Эммой гуляют, взявшись за руки.

Детишек было четверо. Они ждали у решетки, перед воротами, ведущими на фабрику изразцов: двое своих и еще одна парочка. Пако их не пустил, рассказали они. Неудивительно. Он бы не пустил тоже. Новенькие: мальчик... и девочка? Не разобрать.

– Вы их пропустите, Далмау? – услышал он голос сторожа, подошедшего к решетке с другой стороны.

– Да, – подтвердил Далмау, немного поколебавшись.

– Но вы же знаете правила...

– Под мою ответственность, Пако, – заявил он твердо.

– Если не возражаете, я с вами.

– Мне в мастерской нужен всего один. Остальные будут только мешать. Присмотрите здесь за ними.

Они пересекли обширный двор, где располагались резервуары с водой и сушильни, и пришли к складу, где обычно пребывал Пако. При свете двух свечей Далмау разглядел *trinxeraires*: оборванные, малорослые, тощие. Одна из новеньких и правда была девочка. Дельфин и Маравильяс, представил их Педро или Маурисио. Брат и сестра, так они сказали. Далмау попытался прикинуть, сколько им лет, но не смог. Десять, двенадцать... восемь?

– Маравильяс, – обратился Далмау к девочке. – Пойдешь со мной наверх. Остальные...

– Что вы будете с ней делать? – крикнул братец.

– Только рисовать ее, сказали же тебе, – вмешался паренек с фабрики.

– Вот именно. Только это, – подтвердил Далмау. – Рисовать ее. Не беспокойся. С ней ничего не случится...

– Вы не станете ее раздевать? Потому что...

– Нет. Разумеется, нет! – рассердился Далмау.

– Потому что это стоит дороже, – закончил брат прерванную фразу.

– Гаденыш!

Trinxeraire отпрыгнул с удивительной ловкостью, уворачиваясь от палки, которой замахнулся сторож.

Девочка последовала за Далмау на верхний этаж.

– Если он что-то станет делать с тобой, кричи! – напутствовал ее Дельфин, стоя на почтительном расстоянии от палки, которой все еще потрясал Пако.

Далмау увеличил газовый свет в своем кабинете и расчистил место, чтобы девочка могла позировать. Глаза нищенки перескакивали с предмета на предмет: карандаши, кисти, картины, изразцы. На долю секунды взгляд ее задерживался на каждом из них, будто она прикидывала, сколько он стоит и получится ли его украсть.

– Встань тут. – Далмау показал место, где свет был ярче всего.

Маравильяс подчинилась, но продолжала смотреть куда угодно, только не на Далмау, он же не сводил с нее глаз. Он был бы и рад сказать, что у нее хотя бы лицо приятное, но это было не так. От истощения кости резко обозначились, а глаза ввалились, Далмау не мог их как следует разглядеть, так быстро они стреляли туда и сюда из лиловых впадин. Корка довольно большой ссадины виднелась на виске, у корней волос, обкорнанных кое-как. Далмау глубоко вздохнул, это на миг привлекло внимание Маравильяс. Она была грязная. От нее дурно пахло. На ней были лохмотья, много слоев, разноцветные, большей частью темных тонов. Ноги обернуты лоскутами ткани, на манер сапог. Заговорить, что ли, с ней? Или рисовать, ничего о ней не зная; но любопытство пересилило.

– Сколько тебе лет?

Она ответила, глядя в сторону:

– Дельфин говорит, что девять, но... – Девочка пожала плечами. – Иногда говорит, что восемь или десять. Он придурок.

Сев за мольберт, Далмау уже делал первый набросок на большом, метр на полметра, листе бумаги. Он рисовал углем, держа наготове цветную пастель.

– А родители что говорят?

Еще до того, как она впервые вперила в него взор, Далмау осознал свою ошибку: он спросил, не подумав, чтобы снять напряжение, войти в доверие к девочке.

– Родители? – с горькой иронией повторила Маравильяс.

Далмау пристально глянул ей в глаза: большие, темные, с желтоватыми белками, кое-где испещренными красноватыми прожилками.

– Но брат-то у тебя есть?

– Это он так говорит.

Далмау кивнул, что-то промышчал: работа уже захватила его.

– Не ерзай, пожалуйста, – умолял он.

Он бы с радостью рисовал дольше, но через пару часов, несмотря на то что ей часто давали отдыхать, Маравильяс превратилась в нервную, раздраженную, неуправляемую модель.

Все *trinxeraires*, с которыми Далмау имел дело, были одинаковы: хилые, истощенные, пугливые, недоверчивые, непредсказуемые и импульсивные. С короткой памятью, не шибко

умные, некоторые вовсе тупые; иные ленивые, а главное, эгоистичные, эгоистичные до крайности.

В Маравильяс, которая приходила еще несколько дней, пока Далмау не закончил ее портрет, наблюдались все эти качества, хотя, может быть, потому, что женщинам труднее, чем мужчинам, выживать в мире нищеты и преступности, девочка обладала живым умом, далеко превосходившим кратковременные проблески сообразительности, на какие были способны ее товарищи по уличным скитаниям.

Поэтому уже в первый вечер она оттеснила Педро, который взял на себя задачу отлавливать *trinxeraires* для рисунков Далмау. Пако рассказал потом, что мальчишки поспорили и чуть не сцепились, но девочка положила конец сваре.

– Если я узнаю, что ты бродишь по округе и ищешь ребят, скажу всем, что ты нас хочешь надуть. – Спор прекратился. – И мне поверят, – сказала она убежденно, – не сомневайся. Ты тут живешь в тепле и холе, а я нахлебалась дерьма на этих клятых улицах. Знаешь, что мы делаем с теми, кто нас разводит?

Педро не понадобилось много времени, чтобы взвесить угрозу.

– Ладно, – уступил он, – но ты должна отдавать нам часть денег.

Она расхохоталась.

– Денежки мои, – припечатала она. И даже ее брат не стал возражать.

Так что Маравильяс приводила к Далмау следующих *trinxeraires*, чтобы тот завершил задуманную им серию из десяти портретов. Дон Мануэль обо всем узнал и, разгневанный, ворвался к нему в кабинет. Заверив учителя, что это не повредит текущей работе, более того, как ему кажется, принесет пользу, вернув равновесие и спокойствие духа, которых он лишился после смерти сестры: о разлуке с Эммой он решил не говорить, дабы избежать скользких вопросов, – Далмау показал учителю портрет Маравильяс, выполненный углем и пастелью.

Дон Мануэль долго смотрел на рисунок и наконец кивнул. Губы его вытянулись трубочкой между пышными бакенбардами, которые смыкались с усами, и он кивнул еще раз.

– Ты похитил душу у девочки, – изрек он, – и мастерски изобразил ее.

Далмау продолжил рисовать *trinxeraires*, теперь уже с согласия дона Мануэля. Все они позировали, как Маравильяс: вертелись, не могли усидеть на месте... или таранились угрюмо. Некоторых приходилось признать негодными после одного-двух сеансов. Одни кричали и прыгали, другие попросту засыпали. Один даже набросился с кулаками на Далмау, и Маравильяс ринулась художника защищать; другие крали что попало, все равно что: набросок, рисунок, халат с вешалки, глиняную фигурку или блестящий изразец; был такой, что схватил добычу и убежал, не дожидаясь обещанной художником платы.

Потом многие возвращались, толпились у решетки. Далмау смотрел на них, и у него все сжималось внутри. Он узнавал тех, которые крали. Возвращались и эти! И тот, кто набросился на него, и тот, кто уснул на полу. И буйные возвращались, будто не помнили, какой скандал учинили накануне, неделю или месяц назад. И все их друзья в придачу. Целая армия выброшенных на улицу детей, ищущих, чего бы поесть, где бы заработать несколько сентимо или найти уголок у печей, чтобы поспать в тепле.

Несколько месяцев по вечерам, закончив работу над изразцами и керамикой, Далмау похищал души детей, отторгнутых от человечества, и одушевлял листы бумаги, с которых кричали боль, тоска, отчаяние... нищета.

После того как были готовы первые два портрета, дон Мануэль ежедневно приходил в мастерскую Далмау и следил за тем, как возникают эти рисунки в черном цвете с несколькими, очень немногими, штрихами пастелью. Композиции эти, несмотря на некоторую двусмысленность, неизменно погружали зрителя в бездонный омут печали, где художник обретался вместе со своими моделями.

– Трудно вынырнуть из такой глубины, – признался однажды учитель, хватая воздух ртом, стараясь выровнять дыхание, как будто действительно погружался в бездну.

«Волшебство». «Фантастика». «Подлинное искусство». От портрета к портрету множились похвалы из уст дон Мануэля. «Мы устроим выставку, твою первую публичную выставку, – заявил он однажды как о чем-то решенном, включая и себя в проект, – выставку в Обществе художников Святого Луки». И попросил пару портретов, чтобы показать их там и подготовить почву.

Общество художников Святого Луки, членов которого прозвали «Льюками», в свое время откололось от Общества художников Барселоны. «Льюков» не устраивал богемный дух, который привезли из Парижа такие именитые художники, как Рамон Касас и Сантьяго Рузиньол. Гедонистическое, беспечное отношение к жизни сильно отличалось от чисто каталонского, консервативного и католического духа, который определял мировоззрение «Льюков».

Далмау восхищался Касасом и Рузиньолом, крупнейшими представителями авангарда, а значит, каталонского модерна в живописи, но и не отрицал заслуг художников, а главное, архитекторов, принадлежавших к кружку «Льюков», устав которого запрещал его членам писать обнаженную женскую натуру, – Бассегоды, Саньера, Пуч-и-Кадафалка и Гауди, зодчего, вселившего движение в камни. Как можно не относить Гауди к модерну?

– Разница в том, – заметил преподобный Жазинт во время одной из бесед, которые они вели у пиаристов, – что «Льюки» – не радикалы, как эти утратившие веру поклонники беспорядка и распушенности, царящих в Париже.

– Стало быть, вы считаете, преподобный, – возразил Далмау даже с некоторым напором, – что Саграда Фамилия или дом Кальвета Гауди – не авангард, не радикальный переворот? Что здания Пуча или Доменека – не модерн, раз они не богема, а порядочные люди?

– Истинный модерн, – высказался под конец пиарист, – можно найти в благочестии, в религиозном чувстве, с которыми «Льюки» подходят к искусству, а не в духовных исканиях тех, что называют себя модернистами лишь потому, что отрекаются от своей истории, своих обычаев и признают хорошим все новое, неизведанное, часто не задумываясь о последствиях.

Далмау умолк, не желая оспаривать такое чуть ли не мистическое понятие об искусстве, высказанное человеком, которому он с каждым днем все больше симпатизировал.

Так или иначе, соратники учителя по кружку с энтузиазмом приняли предложение устроить выставку рисунков Далмау. «Такое видение, – определил один из них рисунки, представленные правлению общества, – погружает нас в Барселону нищих, тогда как другая Барселона погрязла в пошлых удовольствиях. Такая выставка может в ком-то пробудить совесть». «Надо бы тебе вернуться к преподобному Жазинту, – сообщив хорошую новость, дон Мануэль не упустил случая сделать попытку настоять на своем, – твоя карьера может во многом зависеть от этого. Я сказал в Обществе, что ты готовишься принять веру, без этого они вряд ли бы согласились устроить выставку безбожника».

Далмау что-то промышчал в знак согласия; у него не было ни малейшего намерения снова идти слушать проповеди. В последние месяцы его жизнь ограничивалась работой на фабрике изразцов и рисунками, которые он делал по ночам в обществе Маравильяс и *trinxeraire*, которого выбирал для очередного сеанса.

Он мало виделся с матерью. Приходил на рассвете, когда та спала. Потом, за завтраком, они пытались завязать разговор, но вид пустого стула, где раньше сидела Монсеррат, повергал их в молчание. Далмау знал, что Эмма продолжает постоянно навещать Хосефу, возможно пытаясь заменить ей погибшую дочь. Не было дня, когда он не думал об Эмме, не прокручивал в голове удар кулаком, пьянку, презрение и унижение, угрозы и предупреждения кузена... Далмау пытался увидеться с ней и думал сделать это снова. Замечал, однако, что чувства его остывают, хотя иногда он вдруг ощущал болезненный укол при воспоминании о девушке. В такие минуты он расспрашивал мать, но та отвечала уклончиво. «Должно пройти время», –

заявляла Хосефа, кладя конец разговору и нажимая на педаль швейной машинки. Далмау не мог понять, имела ли она в виду скорбную память о Монсеррат или его разрыв с Эммой.

Иногда по утрам он шел по Равалю мимо столовой «Ка Бертран». Множество извозчиков вокруг рынка Сан-Антони; экипажи у заводов, лошади, торговцы вразнос, мастеровые, безработные, нищие и *trinxeraires* – все движение, вся сумятица живого города вроде бы предоставляли ему укрытие, хотя и недостаточное, по мнению Далмау, который под конец всегда прятался в каком-нибудь парадном поодаль от столовой Бертрана. Время от времени видел Эмму, вечно чем-то занятую. Иногда вроде бы решался, делал несколько шагов по направлению к столовой, но неизменно отступал. Так и не мог к ней подойти, когда бывал уже готов это сделать, на память приходил удар кулаком и с презрением брошенное на прощание «Забудь обо мне!». «Болван!» – пробормотал он посреди улицы, не думая, что кто-то может услышать и обидеться. Огляделся. Никого: только двое мужчин шли своей дорогой, мотая головами. Как он раскаивался в своем поведении! Эмма, наверное, ничего не забыла. Мать никогда не упоминала, что девушка хоть в малейшей степени интересуется им. Может, по-прежнему берет на себя ответственность за смерть Монсеррат, и его винит тоже. Может, и правда еще рано. Может, мать права и нужно подождать...

Однажды, когда Далмау направлялся на фабрику, парочка *trinxeraires*, мальчик и девочка, вышли из укрытия и принялись бродить по кварталу.

– Которая? – спросила девочка.

– Та высокая, милашка, в цветастом платье и белом переднике, – ответил ее брат.

– Точно?

– Точно. Он, как завидит ее, скорей бежит прятаться в парадное. Ты разве не замечала? – уверенно говорил Дельфин. Маравильяс замечала, конечно, однако хотела это услышать от брата, удостовериться. – Я даже видел, как он весь дрожит. Только нос высунет, когда она во дворе, а как в дом зайдет, так и всю голову. Дело ясное! Пошли! – поторопил он сестру.

И они побежали вслед за Далмау, чтобы, как чуть ли не каждый день, столкнуться с ним, будто ненароком, где-то за кварталом Сан-Антони. «Вы меня преследуете?» – спервоначалу спрашивал он. «Ага», – отвечала Маравильяс.

И Далмау всегда покупал им поесть у одного из торговцев вразнос, которые разъезжали по городу, криками нахвалявая товар и скрипя тележками.

Однажды, вместо того чтобы преследовать Далмау, Маравильяс подошла к заднему двору столовой.

– Дайте хлебушка, добрая тетя, – стала клянчить у Эммы, протягивая руку над невысокой стеной, служившей оградой.

– Хочешь хлеба, – ответила Эмма, не бросая работу, – приходи в полдень, после обеда: поможешь помыть посуду, и я тебя накормлю.

– Я голодная, – заявила нищенка с развязностью, не подобающей тем, кто просит милостыню.

Теперь Эмма на нее взглянула. Маравильяс выдержала взгляд и в свою очередь рассмотрела ее во всех деталях. Конечно милашка. Красавица. Чистая. Молодая, здоровая. Зависть захлестнула *trinxeraire*. Ее собственные крошечные груди не видны из-за выступающих ребер, зада нет вообще, а живот впалый... Ничего подобного чувственным, женственным изгибам, как у этой. Как давно она не видела своего лица в зеркале? Даже не знает, хорошенькая ли она. Дельфин говорит: нет, безобразная, как те тупорылые рыбы, которых иногда можно видеть в садках, но для улицы это не важно. В самом деле: здесь ценятся отвага, быстрота, решительность, хитрость... Если девочка красива, на нее обратят внимание, изнасилуют или пустят по рукам или и то и другое вместе.

– Потерпишь до полудня, – повторила Эмма, прервав размышления Маравильяс.

– Ну хоть кусочек, – снова попробовала она.

- В полдень.
- Пожалуйста.
- Ты меня слышишь? – потеряла терпение Эмма. – В полдень.

В полдень Далмау временами обедал в доме учителя. С тех пор как началась подготовка выставки портретов *trinxeraires*, он то и дело приглашал ученика. К галстуку уже не придирались. Далмау ел за общим столом, со всей семьей и преподобным Жазинтом, и теперь его приглашали часто; порой юноша даже оставался с преподобным на сиесту, в отдельной темной комнатке, в то время как дон Мануэль дремал в своей спальне. Иногда за стол садились и другие гости, родные или друзья семейства, но это бывало реже. Донья Селия не говорила с ним ни слова и не скрывала своей неприязни. Урсула, старшая дочь, попыталась снова заняться тем же наивным, скованным сексом, что и в первый раз: предложив научить Далмау пользоваться приборами, опять затащила его в кладовку. Даже не позволила заговорить: набросилась на него с поцелуями, схватила за руки, опять положила одну на грудь, вторую между ног, все так же поверх одежды. Потом нашарила пенис, и, пока держалась за возбужденный член Далмау, испытывая запретное наслаждение, тот быстро сунул в вырез руку и извлек одну из грудей на свет божий.

– Что ты творишь?! – заорала Урсула, резко отпрянув и спеша засунуть грудь обратно под платье. – Кем ты себя вообразил?

Тут Далмау сложил пальцы, чтобы ущипнуть ее между ног, и девушка отпрыгнула назад. Опрокинула швабру и таз, которые разлетелись с жутким грохотом.

– Моя сестра умерла, – напомнил Далмау, когда она, торопясь и задыхаясь, билась в дверь, чтобы выйти из каморки, – тебе нечем меня шантажировать.

– Ты меня недооцениваешь, горшечник сра... – Урсула вовремя придержала язык. – Я тебе это попомню, – пригрозила она перед тем, как хлопнуть дверью.

Во всяком случае, в том, что касалось выставки Далмау в Обществе художников Святого Луки, угроза не осуществилась: выставка открылась в здании Общества на улице Ботерс и имела большой успех. Преподобный Жазинт своим присутствием придал вес заверениям дона Мануэля насчет скорого обращения в веру этого нового художника, которого поздравляли, расспрашивали, осаждали явившиеся на выставку члены кружка, их родные и многочисленная публика, приглашенная на вернисаж. Открывал выставку дон Мануэль, которого сопровождали два члена Общества. Далмау не хотел говорить на публике и сам упросил учителя. «Я очень нервничаю, – признался он. – Голос дрожит и слова застревают в горле». – «Ты же не политик», – ответил дон Мануэль и освободил его от этой роли, зато заставил после своей речи обходить зал и знакомиться с людьми. Усы, некоторые с напыженными кончиками, почти все густые, как у дона Мануэля, и сросшиеся с бакенбардами, и бороды всех видов: квадратные, в мадридском стиле, остроконечные; эспаньолки, иногда просто клочок волос под нижней губой... Эти господа представляли его своим женам и дочерям, хорошо одетым, надушенным; на матерях дорогие украшения. Далмау был совершенно сбит с толку. Он отвечал на вопросы и не успевал закончить фразу, как его уже уводили в другое место, и какая-то дама признавалась, что рисунки вызывают у нее огромное сочувствие к бедным *trinxeraires*, «божьим созданиям, таким же, как мы», твердила она чуть ли не в слезах. Вдруг появлялось какое-то важное лицо, и дон Мануэль отводил Далмау в сторонку, но вскоре вокруг него опять толпился народ.

Также собрались журналисты из специальных изданий и тоже рассыпались в похвалах. «Живописец душ» – озаглавил один из них статью, которая вышла на следующий день; это напомнило Далмау замечание дона Мануэля и навело на мысль о влиянии, какое учитель, возможно, оказал на газетчика, который брал интервью при его активном участии. «Идеализм, с которым молодой художник изображает нищету, – объявил другой критик перед покоренной аудиторией, – придает даже некоторое достоинство детям, предстающим на этих рисунках».

«Льюки» пребывали в эйфории. В их постоянных стычках с богемой Далмау одержал великую победу. Года два тому назад та же пресса раскритиковала выставленные в «Четырех котках»¹², барселонской пивной-кафе-ресторане, ставшей для богемы культовым местом, картины молодого художника Пабло Руиса Пикассо. «Неровность рисунка, неопытность, промахи, колебания...» – так тогда оценили его произведения. Для богемы Пикассо превратился в самого многообещающего из молодых живописцев, однако его следующую выставку, год спустя, совместно с Рамоном Касасом в выставочном зале Парес журналисты и эксперты в области искусства даже не удостоили комментария.

– А тебя определяют как живописца душ, – поздравлял Далмау дон Мануэль, раздуваясь от гордости.

Люди, окружавшие Далмау, разразились аплодисментами. Художник не знал, куда девать руки, куда направить взгляд; наконец устремил его в пол, потом быстро обвел глазами мужчин и женщин, кивая, бормоча слова благодарности, не зная, аплодировать ли ему тоже или нет. Решил, что надо. Хлопнул в ладоши, и тут люди расступились, давая пройти женщине, одетой с чрезвычайной простотой, в платье из цветастой ткани, даже без подкладки; если бы не поясок на талии, оно болталось бы, как туника.

Далмау не нужно было смотреть на лица, чтобы почувствовать отторжение, какое вызвала Хосефа у этих зазнавшихся буржуа. Некоторые уже отходили в сторону, когда Далмау повысил голос:

– Моя мать, – представил он, беря ее за руку и подводя к дону Мануэлю. – Мой учитель, мама.

Дон Мануэль изящно поклонился, и иные женщины, уже отошедшие, вернулись, снедаемые любопытством и каким-то пошлым интересом, – разглядеть поближе будущий предмет пересудов и насмешек на их вечеринках: мать художника.

Хосефа, не обращая внимания на похвалы ее сыну, в которых рассыпался дон Мануэль, беззастенчиво уставилась на этих дам.

– Покажи мне это, – попросила потом сына, обводя рукой стены, увешанные рисунками.

Они прошли по выставочному залу, учитель рядом, взгляды всех присутствующих устремлены на них. Хосефа вытерпела объяснения дон Мануэля и Далмау, гордо держа сына под руку, чувствуя, что все на нее смотрят.

Далмау пожалел, что Эммы нет с ними: он бы сжимал ей руку, объяснял бы рисунки, кто есть кто, чего ему стоило этих детей нарисовать, что стащил этот, что выкрикивал вот тот... И она бы смеялась, и они бы разделили триумф. Может быть, теперь, после выставки, он рискнет снова встретиться с девушкой.

– Ты должен быть начеку, – шепнула Хосефа на ухо Далмау, прерывая ход его мыслей, – чтобы кто-нибудь из этих буржуев не смутил твою душу.

¹² «Els Quatre Gats» (*каталан.*) – богемное кафе в Готическом квартале Барселоны, созданное по подобию кафе с тем же названием в Париже. Здание было снесено во время правления Франко и восстановлено в 1970-е.

5

Эмма обходила зал, неся поднос, нагруженный грязной посудой, которую она собирала со столов. Шла медленно, осторожно, стараясь, чтобы стаканы и тарелки не стукались друг о друга. Но вдруг, когда она проходила мимо стола, за которым сидели четверо рабочих, один из них с силой шлепнул ее по задку. Девушка споткнулась и выпустила поднос. Стаканы, тарелки и плошки разлетелись по полу, многие разбились вдребезги. Эмме было не до катаклизма: она прижала руку к ягодице и, вся красная от стыда, повернулась к обедающим.

– Кто это был? – закричала она. – Как ты смеешь?

Мужчины, сидевшие за столом, хохотали во все горло. Бертран быстро подбежал к ним.

– Леон, – обратился он к одному завсегдаю, рабочему с мебельной фабрики, нахалу и забияке, – мне здесь не нужны скандалы! У меня приличное заведение.

– Приличное? – возопил мастеровой, развернул большой лист бумаги и показал Бертрану.

Эмма увидела, как побледнел хозяин. А рабочий встал, прижал лист к груди, развернув его до колен, и стал поворачиваться в разные стороны, чтобы люди с других столиков тоже посмотрели. Свистки, аплодисменты, непристойности и грубые словечки, какими приветствовали картинку неотесанные работяги, пришедшие сюда пообедать за несколько сентимо, загудели у Эммы в ушах, когда она узнала на рисунке себя, нагую, в вызывающей, совершенно похабной позе. У нее подкосились ноги, закружилась голова. Все вокруг вращалось с бешеной скоростью, и она уже не слышала гвалта. Она начала падать, но мужчина, сидевший за столиком Леона, ее подхватил.

– Раздевайся! – крикнул кто-то.

– Юбки, задери ей юбки!

Мужчина, не давший Эмме упасть, одной рукой поддерживал ее за талию, а другой похотливо ощупывал грудь.

– Молодчина!

– Покажи нам сиськи! Настоящие! – подстегивал кто-то еще.

Бертран остолбенел. Его жена Эстер и одна из дочерей, привлеченные скандалом, вызволили Эмму из рук работяги.

– Уведи ее, – велела мать, обращаясь к дочери. – На кухню. Живее!

– Ну нет! – хором взвыли клиенты.

– Пусть оголится, как на картинке.

– Шлюха!

– Дай сюда, – подступила к Леону повариха.

– И не подумаю, – воспротивился тот, пряча рисунок за спину. – Мне это стоило моих кровных денежек.

– Где ты это взял? – наконец-то пришел в себя Бертран.

– Где купил, ты хочешь сказать. В борделе Хуаны! – громко расхохотался он. – Там и другие картинки продавались, но мне приглянулась эта.

И пока он снова вертелся, распаяя собравшихся, Эмма сникла окончательно, услышав слова Леона буквально на пороге кухни: были и другие картинки, и к тому же их продавали в борделе.

– Ну хватит! Довольно, – потребовал Бертран. – У меня...

– Приличное заведение? – прервал его Леон под новый взрыв хохота. – У тебя работает девка, которая выставляется голой в... Выставляется голой, как последняя мочалка! – выкрикнул он наконец.

– Должно быть какое-то объяснение, – вклинилась Эстер; прежде чем идти следом за Эммой, она велела другой дочери подобрать все с пола.

Объяснения не было. Во всяком случае, такого, которое удовлетворило бы Эстер: она и ее муж, скромные владельцы столовой, гордились тем, что достигли определенной ступени, заняли место, пусть невысокое, среди городской буржуазии, и очень дорожили этим. Каталонцы к тому же и, разумеется, католики. «Ты позволила нарисовать себя в таком виде? – изумилась женщина, когда Эмма, сидя на корточках, закрыв руками лицо, на все ее расспросы только кивала. – Но... но... что за отношения были у тебя с женихом, девочка? Вы... предавались разврату?» Обе дочери Бертрана, разинув рты, ловили каждое слово; отец тоже вслушивался, стоя в дверях кухни и одновременно присматривая за залом.

– Мне так жаль, так жаль, так жаль... – рыдала Эмма.

Одна из дочерей, желая утешить плачущую, склонилась, чтобы обнять ее за плечи. Мать яростно вцепилась в нее, заставила подняться и оттащила на несколько шагов.

– И нам жаль, Эмма, – изрекла она, – но тебе придется покинуть этот дом.

Бертран напрягся. Но взгляда, который бросила на него жена, было достаточно, чтобы он прикусил язык. Дочери удивленно переглянулись. Эмма отвела ладони от лица и взглянула на Эстер.

– Вы меня увольняете? – медленно, в изумлении спросила она.

– Разумеется, – жестко отвечала хозяйка. – Мы не можем здесь допустить такого неприличия. Рассчитай ее, Бертран, – добавила она, направляясь к мужу. – Вы займитесь готовкой. А ты собери свои вещи и приходи за деньгами. Молчи, – проговорила она сквозь зубы, когда они с мужем вместе выходили из кухни. Народ уже успокоился, слышался только обычный гул голосов, кое-где крики и взрывы хохота. – Знаю, нелегко ее прогонять, – продолжала женщина, – но дело не только в этом рисунке... или в тех, какие могут еще появиться. Ты не замечаешь, что Эмма заменяет твоих дочерей на кухне? Им вольготнее вдали от плиты, они болтают с людьми, дурачатся, флиртуют. Подавальщиц мы всегда найдем, таких или сяких, а вот хороших кухарок мало, и надо воспользоваться случаем. Мы должны научить дочек всему, что умеем: кто меня заменит, если со мной что-нибудь случится? Кто продолжит это дело, когда мы состаримся?

– Но ее дядя... Мясо со скотобойни... – засомневался Бертран.

– Себастьян все прекрасно поймет. Думаешь, ему понравится, если народ побежит сюда с картинками, чествуя его племянницу шлюхой и хватая ее за задницу? Того гляди, он сам ее из дома выгонит.

– Он анархист, почти такой же, каким был его брат, а ты знаешь, что они думают относительно секса и всяческих свобод.

– Да-да-да, милый мой, – язвительно отвечала Эстер. – Пока это их самих не коснется, их собственной плоти и крови. Анархист или нет, он почувствует унижение.

Бертран со вздохом кивнул.

Эмма выскользнула на задний двор, потом через калитку в стене выбралась на улицу. Бертран при расчете не вычел стоимость разбитой посуды. Худой, суетливый, он избегал смотреть ей в глаза. Поджал губы и пожелал удачи. От Эммы будто оторвали часть ее существа, жизни, рутины, она вдруг попала в водоворот сновавшей по улицам толпы, и никому не было дела до ее несчастья. Увернувшись от повозки, которую тащил хромым мул, она влилась в людской поток и понемногу удалилась от столовой. Все ей казалось чужим, враждебным. Она возвращалась домой в неурочный час. Что ей делать там взаперти? Дядя Себастьян, наверное, спит после ночной смены на скотобойне. Она задрожала при одной мысли о том, что придется объяснить дяде и кузенам, откуда взялись эти рисунки. Роса знала, ей она рассказала, ведь если делишь с кем-то небольшую кровать, это располагает к доверию и интимным излия-

ниям. Представив, как дядя и кузены разглядывают ее наготу, она покрылась холодным потом. Зачем?! Зачем?! Зачем Далмау их продал? Неужели настолько возненавидел ее? Она остановилась посреди улицы, сжала кулаки, крепко, так что ногти вонзились в ладони. «Негодяй!» – проговорила она сквозь зубы. Шедшим позади приходилось огибать ее. На этой самой улице, может быть, на другой, поблизости, Далмау преследовал ее, просил прощения. Может быть, думал, что так легко простить удар кулаком, который она от него схлопотала? Нет, ни за что, даже если учесть, что он в тот вечер был в стельку пьян. И потом, Монсеррат. Она не могла отделаться от чувства вины, и по ночам ее преследовало видение: баррикада, голова подруги, развороченная пулями. Но Далмау не желал брать на себя ни малейшей ответственности, хотя именно он запустил конфликт, попросив ее заменить подругу на уроках катехизиса. «Предательница!» – именно поэтому выкрикнула Монсеррат перед смертью. Далмау должен был передумать, исправиться, умолять тысячу и один раз, чтобы получить прощение, а он вместо этого пропал, сделав несколько попыток; не упорствовал. И теперь рисунки. Эмма не понимала, как они очутились в борделе. Люди видели ее нагой, вождедеющей, сладострастной. Она помнила каждый из сеансов рисования: любовь, страсть, наслаждение... Она шла, погруженная в эти мысли, со слезами на глазах, и вдруг обнаружила себя в нескольких шагах от решетки, окружающей фабрику изразцов. Пыталась вспомнить, не задумала ли она в какой-то момент нарочно прийти сюда, и решила, что нет.

Далмау нет на месте, объявил беззубый старик. Спросил, зачем она хочет его видеть. Зачем, повторила она про себя. Чтобы плюнуть ему под ноги. Расцарапать морду, дать с ноги по яйцам. Да не раз!

– Просто так, – сказала она вслух. – Не беспокойтесь.

– Они с учителем готовят выставку. Говорят, получилось очень хорошо, и... – (Но Эмма уже отошла от решетки.) – Хочешь, скажу, что ты приходила? Как тебя звать?

Эмма несколько мгновений поколебалась, стоя спиной к старику, и наконец ответила, не повернув головы:

– Не надо, не утруждайтесь. Он меня не знает. Я приду потом.

И она направилась к Сан-Антони через те же пустыри, по тем же немощным улицам без тротуаров, вдоль которых выстроились убогие домишки в два-три этажа, мастерские и фермы, где держали молочных коров, коз или ослиц; по тем же переулкам, где всегда ходила, не очень-то глядя по сторонам.

– Козел, – вдруг пробормотала она вне себя, остановившись перед какой-то молочной фермой. – Козел, – повторила громче. – Козел! – возопила в самые небеса, стоя посреди улицы. – Козел!

Скотница обернулась на эти крики, неодобрительно фыркнула, когда корова, которую она доила, заволновалась и стала брыкаться. Две женщины в черном зашептались, указывая на Эмму, а позади них, спрятавшись между домами, за бельем, развешенным сушиться, всякой утварью и грудями мусора, Маравильяс и ее брат Дельфин обменялись заговорщическими взглядами. Делов-то – выкрасть из мастерской Далмау рисунки, изображавшие девушку, которую Маравильяс узнала, как только увидела в столовой. У Далмау в мастерской был полный кавардак, а рисуя *trinxeraires*, он доходил до такой степени сосредоточения, что, если не считать бумаги, уголька и пастелей, которые он держал в руках, Маравильяс могла стащить у него что угодно: башмак с ноги или рубашку с тела.

Продать их в бордель Хуаны оказалось еще проще. Бандерша, как и следовало ожидать при ее ремесле, не отличалась культурой и утонченным вкусом, однако же она рассматривала рисунки с почтением, будто открывала в них что-то, помимо сладострастия, какое призваны были возбуждать снимки голых женщин, вошедшие в моду после распространения фотографии. Но от почтения цена не стала выше, как их в том уверил Бенито, *trinxeraire*, который и

рассказал о том, как странно глядела шлюха на эти картинки; ему Маравильяс поручила миссию продажи рисунков.

– Почему он, а не ты или я? – заныл братец.

– Не надо Далмау знать, что это сделали мы.

– Почему?

– Далмау нам доверяет. Может, даже привязался к нам. Разве ты сам не видишь? Покупает нам еду с тележки, время от времени дает несколько сентимо. Он злится на девчонку, это в глаза бросается, и все-таки в нее влюблен. Иначе не стал бы за ней шпионить. А если они помиряются, мы станем лишними, так и знай.

– А. – Дельфин задумался на несколько мгновений. – А что, если Далмау встретит Бенито и тот расскажет, что его подрядили мы?

Девочка резко взмахнула рукой, отменяя все сомнения.

– Что Бенито встретит, так это смерть свою, кашляет сильно и на каждом шагу кровью харкает.

Маравильяс двинулась было за Эммой, которая, громко обругав Далмау и плюнув под ноги скотнице, продолжила путь, удаляясь вниз по улице.

– Пусть себе идет, – предложил Дельфин.

Но Маравильяс не собиралась пускать дело на самотек. Она хотела знать, что будет с девушкой дальше. Когда-нибудь это ей пригодится... на пользу или во вред Далмау.

Дядя Себастьян уже знал: он ходил обедать в «Ка Бертран» после того, как Эмму выгнали, и гнев его распался по мере того, как он дома дожидался ее прихода. Эмма застала его в бешенстве, в буйстве, возможно, в подпитии, на что указывала наполовину опорожненная бутылка анисовки на столе и запах перегара, который девушка почувствовала при первых дядиных словах.

– Что ты натворила, несчастная? – зарычал Себастьян. Эмма отступила к входной двери. Дядя двинулся следом, кричал, брызгая слюной и алкоголем. – Все кому не лень тебя видели голый! Мокрощелка! Шлюха! Так я тебя воспитал? Что бы сказал твой отец, будь он жив?

Эмма стукнулась спиной о закрытую дверь. Дядя Себастьян чуть не столкнулся с ней нос к носу, от запаха перегара и пота ей стало дурно. Она слышала и ощущала на лице его горячее дыхание. Они были дома одни, кузены еще не пришли с работы. Сейчас он ударит ее. Эмма задрожала, закрыла глаза, боясь, что дядя, во власти гнева и алкоголя, ее изнасилует, но крики стихли. Секунды шли, а она все не решалась взглянуть на дядю. Не могла сдержать коварную дрожь в коленях. Еще немного, и она упала бы, но внезапно по всему дому прогремел удар: это дядя Себастьян грохнул кулаком по двери. Эмма соскользнула на пол. Дядя двинул по двери ногой, совсем рядом с нею: еще и еще раз. Девушка слышала, как трещит пробитая филенка, и все сильнее съеживалась. Дядя вернулся к столу и налил себе рюмку анисовки.

Эмма так и сидела под дверью, скорчившись, прижав колени к груди. Оттуда увидела, как дядя опрокидывает рюмку одним глотком и наливает следующую.

– Завтра подыщу тебе хорошего мужика, готового забыть об этих рисунках и не поминать твое бесстыдство, и ты выйдешь за него замуж. Нелегко найти такого, кто примет с легким сердцем, что его жену видела и желала половина мужчин Барселоны, но, кажется, есть у меня один на примете...

– Нет, – услышала себя Эмма как бы со стороны. – Я ни за кого не выйду замуж.

Себастьян взял рюмку, но отпил всего один глоток, что необъяснимым образом успокоило Эмму.

– Мне следовало бы задать тебе трепку, – пригрозил дядя, – но я обещал брату, что, коли это будет в моих силах, тебя никто и пальцем не тронет, включая меня, конечно. Раз ты не

желаешь мне подчиниться, тебе придется покинуть этот дом. Ты достаточно взрослая, и я могу считать себя свободным от обещания, данного твоему отцу.

После такой речи, весьма пространной для забойщика скота, дядя рухнул на один из стульев, стоявших вокруг стола.

– Не беспокойтесь, я прямо завтра... – начала Эмма.

– Не завтра. Сегодня. Сейчас.

– Но Роса... и кузены... – бормотала Эмма. – Мне хотелось бы попрощаться.

– Дождись их на улице и прощайся там.

Эмма принесла с собой узелок со скудными пожитками, какие забрала из столовой: миска, столовый прибор, пара передников, салфетка. Теперь нужно было собирать вещи в доме, который она считала родным со времени гибели отца. Одежда. Цветастое платье, выкройку для которого ей принесла Монсеррат. Пара башмаков и ее детские портреты, которые нарисовал Далмау. Эмма все их разорвала. От родителей ей остались только исцарапанные очки и самопишущая ручка с золотым колпачком, которая принадлежала отцу и которую Эмма хранила, как величайшее сокровище. Лучше ее с собой не брать.

– Будьте добры, сохраните ее для меня, дядя, – уже с узелком на плече попросила она, кладя ручку на стол. – Надеюсь, когда-нибудь я вернусь за ней, а если нет, пусть достанется старшему из братьев, – добавила она. Дядя хранил молчание. – Спасибо за все, – заключила она. – Я понимаю ваше решение и хочу, чтобы вы это знали.

Эмма нагнулась, чтобы поцеловать его в макушку, как делала не раз. Себастьян отстранился.

– Мне жаль, – повторила Эмма, направляясь к двери.

– Если я не выдам тебя замуж и не выгоню тебя и если ты не появишься на людях с физиономией, разбитой в лепешку, – услышала она, уже стоя на пороге, – люди подумают, что моя Роса такая же потаскуха, как и ты. А этого я ни за что не допущу.

Эмма, уже стоя на площадке, кивнула и исчезла.

Роса расплакалась, когда они встретились в парадном, и Эмма объяснила ей, что произошло. «Они не поймут», – предупредила относительно братьев. И не ошиблась. Они явились, когда Эмма еще прощалась с Росой.

– Ты-то хоть не позировала для этого поганца? – было первой реакцией одного из них; при этом он буравил сестру взглядом и сжимал кулаки.

– Я предупреждал, – вклинился другой брат, – то, что ты позволяла Эмме в нашем доме кувыркаться с этим сукиным сыном, ни к чему хорошему не приведет.

– Мне очень жаль, – извинилась Эмма перед кузенами.

В конце концов она расцеловала обоих в щеки, чего не позволил их отец, отдернув от нее макушку. Правда, братья тоже себя чувствовали неловко, да и соседи, которые поднимались или спускались по лестнице, уже с подозрением косились на сборище. «Что-то случилось?» – спросил один.

Случилось много чего. У Эммы почти не было денег: несколько песет, полученных при расчете, и скудные сбережения. С этим она могла снять комнату в каком-нибудь доме, но во всех знакомых домах, которые они перебрали вместе с Росой, с ней могли обойтись так же, как дядя Себастьян: узнав о рисунках, ее бы выгнали или... Роса не осмелилась выразиться яснее, а Эмма и без того понимала. Ею могли попользоваться, приняв по меньшей мере за доступную женщину. Пару часов назад она боялась, что родной дядя ее изнасилует. В этом она не стала признаваться кузине, да и сама поняла, что была несправедлива к человеку, который воспитал ее как родную. Но если так получилось с родичем, которого она уважала, которому доверяла, что говорить о посторонних.

Вдруг она отдала себе отчет, что, если не считать борьбы за дело рабочих, стычек с жандармерией и оскорбительных выкриков в адрес буржуев, жизнь ее протекала практически без-

мятежно. Когда Роса и кузены поднялись к себе, окружающая среда снова ей показалась враждебной, так же как утром, когда она покинула «Ка Бертран». Она совсем одинока. Ей нужна работа. Нужны деньги. Нужен приличный дом, где ее не знают, где она может есть и спать. Нужно заново устроить жизнь, которая вышла из-под контроля с того момента, как арестовали Монсеррат, и теперь выплеснула ее туда, где она сейчас находится, одна-одинешенька посреди Ронда-де-Сан-Антони, в толчее людей, мулов и повозок, вечером злополучной среды в середине июля 1902 года.

Колокол приходской церкви Сан-Пау дель Камп отбил две четверти часа: половина седьмого. Роса сказала, что в муниципальный приют у Парка¹³ нужно поспеть до восьми. Туда принимали с восьми до десяти вечера, но они решили, что лучше прийти пораньше, чтобы не остаться без постели или без ужина. Тогда она села на кольцевой трамвай, круживший по старому городу: он довезет до приюта, до улицы Сицилия. Эмме удалось устроиться на скамейке между двумя солдатами, которые подвинулись с преувеличенной, несколько наигранной вежливостью. Девушка скоро поняла, что к чему: парни мало-помалу начали сдавливать ее с обеих сторон. Вот какой теперь будет ее жизнь. Она громко вздохнула, потом заерзала, с силой повела плечами. «Неужели скамейка съезжилась?» – спросила она с насмешкой, повернувшись в одну и в другую сторону; другие пассажиры заулыбались, а солдаты покраснели и отодвинулись.

На Параллели трамвай звонил не переставая, чтобы разогнать толпу прохожих, устремляющихся в кафе и столовые, к тележкам разносчиков, в театры, кабаре, кино и к аттракционам. Люди разбегались не так быстро, как того хотел бы водитель, что часто приводило к несчастным случаям, особенно на узких улочках. Трамвай не зря прозвали «гильотиной», так легко он перерезал человеческую плоть, отнимая жизнь у жителей Барселоны. Этот кольцевой маршрут часто называли «каретой бедняков», поскольку многие семьи скромного достатка по воскресеньям разъезжали на нем, точно богачи в своих экипажах.

Эмма сошла с трамвая у Парка, разбитого на обширной территории, где два века назад, после поражения Барселоны в Войне за испанское наследство между сторонниками Филиппа V Бурбона и эрцгерцога Карла Австрийского, были выстроены укрепления. В середине XIX века правительство отдало их городу, а городские власти незамедлительно постановили разрушить фортификации, напоминая о разгроме. Там состоялась Всемирная выставка 1888 года, а теперь, в свете июльского заката, под свежим морским бризом Эмма смешалась с барселонцами, рассеянно бродившими по различным аллеям: тополиной, липовой, вязовой; они любовались садами, разбитыми в английском стиле, с гигантскими кедрами и множеством магнолий, или шли освежиться к искусственному водопаду немалой высоты, к которому вела аллея, обсаженная эвкалиптами.

Эмма напряглась, ощутив укол зависти: она не раз наслаждалась здесь природой вместе с Далмау. Здесь они бегали и хохотали, обнимались и страстно целовались; потом она отдыхала на лужайке в каком-то из множества садов, а Далмау погружался в свои рисунки: наброски прохожих, иногда бурлескные или сатирические, чтобы позабавить Эмму; иногда деревья или простой цветок. Было это не так давно, а казалось таким далеким.

Она ускорила шаг, чтобы не поддаваться воспоминаниям, пересекла Парк и оказалась на улице Сицилия. Там располагался приют, муниципальное учреждение, при котором имелась бесплатная амбулатория, а также отдельные спальные корпуса для мужчин, женщин, детей и умалишенных. Не считая медицинского и управленческого персонала, учителя и подсобных работников для уборки и приготовления еды, в приюте заправляли четырнадцать монахинь ордена Святого семейства и помощник-капеллан.

¹³ Имеется в виду парк Сьютадела, «Цитадель», разбитый на месте снесенной крепости в 1869 году и несколько десятилетий остававшийся единственной зеленой зоной в городе.

В те дни в приюте содержалось около сотни детей, восемьдесят мужчин и сорок женщин, а еще семьдесят идиотов или сумасшедших. Особенность приюта заключалась в том, что мужчины и женщины могли провести здесь три ночи, получая постель, суп на ужин и какой-то завтрак, – днем они должны были уходить – и после этих трех ночей могли снова просить ночлега лишь по истечении двух месяцев.

Эмма остановилась, увидев толпу, скопившуюся на улице. Она заколебалась, ее так и подмывало повернуться и уйти, но никакого другого места для нее нигде не было. Эмма глубоко вздохнула. Они об этом говорили с Росой: ей было нужно время, хотя бы три дня с ночевкой в приюте, чтобы сделать правильный выбор. Эмма пристроилась к очереди, которая змеилась перед цокольным этажом. Вскоре поняла, однако, что все эти люди, раненые, в кровавых повязках, женщины, баюкающие детей, дрожащих в ознобе, немощные старики и пьяные, не держащиеся на ногах, пришли сюда не за ночлегом, а за бесплатной медицинской помощью, то есть в амбулаторию, расположенную в полуподвале.

Эмма отыскала вход в приют и назвала свое имя администратору, сидевшему за высокой стойкой. Больше ничего не потребовалось. Ей показали дорогу в женское отделение; ночлежка тоже располагалась в полуподвале. Там, среди женщин, пришедших раньше и раскладывавших свои вещи по кроватям, которые рядами стояли в большом зале, Эмма увидела двух монахинь: они-то и приступили к расспросам. Что привело ее сюда? Есть у нее родные? Работа? Что она умеет делать? Какого вероисповедания? На конкретные вопросы Эмма отвечала уклончиво, зато, когда речь зашла о вероисповедании, поразила монахинь, бегло процитировав отрывки из катехизиса, который сестра Инес из приюта Доброго Пастыря накрепко вбила ей в память. Вечером монахини позаботились, чтобы ей налили побольше супу. Положили в отдельную кровать с простынями старыми и колючими, но чистыми, и с этого ложа Эмма слушала храп, кашель и плач сорока с лишним женщин. Были там нищенки, их распознать легко, но также девушки и женщины такие, как она, по воле злой судьбы оказавшиеся здесь; Эмма хотя и не заговаривала с ними, но отвечала на улыбки, которыми они обменивались, узнавая товарок по несчастью. Несмотря на это, несмотря на множество спящих, которые ее окружали, с наступлением темноты Эмме, свернувшейся в позе зародыша, показалось, что она стала совсем крохотной, до полного исчезновения. Она всем телом ощущала свое одиночество, могла потрогать эту вдруг выросшую вокруг нее стену, и слезы сами собой заструились по щекам. Эмма пыталась бороться. Она всегда была сильной, ей об этом говорили, и она этим гордилась. Минута за минутой она сдерживала плач: зажмурилась, сжала губы, напряглась всем телом. Но глухие рыдания прорывались.

– Дай себе волю, девочка, – послышался голос с соседней кровати. – Тебе станет легче. Никому нет дела до твоих слез, никто не попрекнет тебя. Со всеми нами случилось и еще не раз случится одно и то же.

Эмма попыталась припомнить лицо этой женщины. Не получилось. Нетрудно было последовать ее совету, и она плакала так, как на своей памяти не плакала никогда, даже когда умер отец.

На следующий день монахини порекомендовали ей приличный дом на улице Жироны, за улицей Кортес. Сказали, что можно сослаться на них. Предложили и работу прислуги в другом доме, ведь Эмма накануне заявила, что умеет готовить. А еще они могли посодействовать тому, чтобы ее приняли в школу Непорочного Зачатия, где обучали всем видам услужения в богатых домах. Более восьми сотен девушек постигали премудрости этого дела, а потом получали место.

Кровать в доме на улице Жироны была весьма кстати. Но быть прислугой у буржуев ей, анархистке, боровшейся за рабочее дело, совсем не улыбалось, как бы ни давила нужда. Ее отец перевернулся бы в гробу, да и Монсеррат, без сомнения, тоже. Кроме того, чтобы посту-

пить в школу, где учили готовить и прислуживать, а главное, почитать хозяйку дома и Господа превыше всего, требовалось свидетельство о благонравном поведении, выданное священником прихода, к которому принадлежала будущая служанка. Монашек Эмма смогла обмануть отрывками из катехизиса, но со священником такой номер не пройдет.

– Благодарю, почтенная мать настоятельница, – начала Эмма, – но это мое тело... – Раскинув руки, она обвела контуры своей фигуры. – Это тело навлекало на меня массу неприятностей. Хозяева... их сыновья... Вы понимаете? – (Они понимали.) – Мужчины в богатых домах думают, что имеют на нас какие-то права, что мы обязаны делать для них гораздо больше, чем просто прислуживать за столом. Я осознаю это и не хочу никого вводить в грех. Может быть, через сколько-то лет, когда юность минует, я и смогу работать в каком-нибудь благопристойном доме.

– Прекрасные слова, дочь моя, – похвалила старшая среди этой дюжины монахинь, в свою очередь оглядев Эмму с головы до ног.

Дом на улице Жироны был скромным, но благопристойным. Как и следовало ожидать от дома, который порекомендовали монахини, благочестивая вдова, носящая траур, владела им и увеличивала свои доходы, сдавая лишние комнаты. За три песеты в месяц Эмма могла делить кровать с другой девушкой, Дорой, симпатичной, приветливой хохотушкой, которая желала одного: выйти замуж и выбраться из комнатенки, где им двоим было не поместиться стоя. У девушки был один недостаток: она вся пропахла кроликами. Этот запах Эмма помнила еще по столовой, но от Доры несло в сто раз сильнее: она работала в скорняжной мастерской и подстригала кроличьи шкурки, а значит, весь день их теребила в руках. Как она ни старалась избавиться от состриженных волосков, к утру кровать была усеяна ими, и Дора, проснувшись, долго пыталась вычесать их из своей шевелюры, одновременно рассыпаясь в извинениях. А еще было невозможно проветрить комнату, ибо единственное окно выходило в крошечный внутренний дворик, откуда не свежестью тянуло, но просачивались тысячи запахов из других туда выходящих квартир: такое впечатление, будто запахи теснились там, ожидая, когда какой-нибудь наивный жилец откроет окно и впустит смрад в свое жилище. И вдова не одобряла, когда они держали дверь в спальню открытой. Это, заявляла старуха голосом более твердым, чем обычно, прямо приглашает мужчин зайти, разжигает их плотские желания; правоту своих слов она подчеркивала, стуча клюкой по мозаичному полу.

Пусть Эмма не могла открыть окно комнатенки, а порой выходила на улицу вся в кроличьих волосках, ей не составило труда подружиться с Дорой, прикикая к ней по ночам, чтобы утишить тревогу и обмануть тоску. Общаясь с ней, Эмма воспрянула духом. Положение ее было настолько отчаянным, что она стала понемногу забывать Далмау, дядю Себастьяна, кухню Росу, Хосефу, даже Бертрана и всех, кто прежде ее окружал. Она заплатила вдове за месяц вперед, и денег оставалось только на скудное пропитание в течение того же месяца. Пересчитывать монеты она не осмелилась, но знала, что дело обстоит так. Нужно было найти работу, этим она и занялась с самого первого утра, не ограничиваясь кухней, хотя сначала обошла столовые и рестораны, пивнушки, винные погребки и таверны, и все без толку: ей либо отказывали, либо старались воспользоваться ее положением и предлагали нищенскую плату. Экономический кризис не ведает жалости и пробуждает худшие качества в тех, кто может дать работу.

Эмма переключилась на лавки, где торговали вышивками и кружевами, шляпами, продуктами и даже экипажами. По нулям. Столь же бесплодными оказались походы по магазинам вееров и зонтиков; ножей; кондитерским и обувным. Наконец, ее нанял тюфячник, который держал магазин на улице Байлен, неподалеку от площади Тетуан, и несколько ночей кроличьи волоски, приносимые Дорой, смешивались с прилипавшими к Эмме клочьями шерсти. Обе по утрам хохотали. Одна подстригала кроличьи шкурки, другая днями напролет ворошила шерсть. Работа у Эммы была такая: она брала тонкий ясеневый прут длиной полтора метра,

согнутый под острым углом на конце, подцепляла и подбрасывала шерсть, пока та не ложилась слоями и не становилась пышной; потом сам тюфячник или его супруга укладывали эту шерсть на матрасную ткань и зашивали. Несколько дней Эмма задыхалась среди кип необработанной шерсти, в которую тыкала и тыкала палкой, поднимая пыль, забивавшую горло, пока однажды вечером перед концом работы, когда она, покрытая пылью, вертела в воздухе прutom, разделяя слежавшуюся шерсть, тюфячник толкнул ее в спину и повалил на тюк.

Дора спрашивала, что это за человек. Вроде порядочный, отвечала Эмма. «Не расслабляйся», – предупредила подруга, а Эмма, вместо того чтобы прислушаться, пошутила, что, дескать, у нее все время палка в руках, пусть только сунется, увидит, где раки зимуют. Но теперь... куда же этот прут подевался? К ужасу Эммы, тюфячник взгромоздился на нее, и оба погрузились в шерсть; потеряв рассудок, он одной рукой тискал ей грудь, а другой задирали юбки, одновременно целуя в засос шею, уши, щеки, губы.

Эмме было с ним не справиться. Мужик могучий, сильный: недаром всю жизнь ворошил шерсть и перетаскивал тюфяки с места на место. Эмма, задыхаясь среди волокон шерсти, искала выход. Пыталась нащупать прут, уже чувствуя его руку в промежности, но не вышло. Прута не было. Под руки попадалась шерсть и только шерсть. Хотела крикнуть. Закашлялась. Куда супруга смотрит, подумала про себя. Хотела вывернуться из-под тела, ее прижавшего к тюку, но это было невозможно. Закричала, на этот раз без помех, и он больно отхлестал ее по щекам, продолжал бить, даже когда она замолчала.

– Нет. Умоляю, – всхлипнула девушка, выбиваясь из сил. – Пожалуйста. Нет. Нет...

Она заметила, что тюфячник, не приподнимаясь, елозя по ней, стаскивает с себя штаны.

– Нет. Нет.

Эмма увидела перед собой воздетый член, уже обнаженный, и снова стала защищаться. Мужчина крепко схватил ее запястья и развел ей руки крестом.

– Пожалуйста, – молила она, глядя ему прямо в глаза.

– Тебе понравится, девочка, – ухмыльнулся тюфячник. – Так понравится, что еще захочешь.

Эмма погрузила ладони в шерсть, сжала кулаки, будто это могло как-то ее успокоить, а мужчина, сев на нее верхом, дергал блузку, пытаясь добраться до груди.

– Будешь меня просить! – твердил с остекленевшим взглядом и побагровевшим лицом. – Повторить захочешь!

Ее осенило. Когда тюфячник открыл рот, собираясь бахвалиться дальше, Эмма приподнялась, как могла, и сунула туда комок шерсти, который сжимала в кулаке. Мужчина, застигнутый врасплох, схватил ее за руку, вывернул кисть. А она сунула ему в рот другой комок, из другого кулака.

– Вот и повторю! – заорала Эмма, пальцами пропихивая шерсть прямо в горло.

Он сопротивлялся. Но злость придавала ей сил, направляла волю, и, выдерживая натиск, она то одной, то другой рукой закрывала ему рот, не давая выплюнуть шерсть. Тюфячник пытался колотить ее, но недолго, через несколько секунд бешеной схватки он начал задыхаться и наконец лишился чувств. Эмма скинула его с себя, поднялась, отскочила на несколько шагов, надсадно кашляя: ей в горло тоже попали волокна шерсти и пыль, которую они подняли во время возни. Тюфячник после нескольких потуг исторг из горла комки шерсти, потом его вырвало. Продолжая отступать, Эмма наткнулась на ясеневый прут. Подобрала его. Тюфячник стоял согнувшись, спиной к ней, все еще содрогаясь. Козел! Она сунула прут ему между ног, живо представляя себе уже обвисший член, и, подцепив его загнутым кончиком палки, с силой дернула. Вопль тюфячника возвестил, что она не промахнулась. Бросив прут, Эмма направилась к выходу. По пути забрала из кассы то, что ей причиталось за работу плюс компенсацию за порванную блузку.

– Боюсь, где бы ты ни работала, везде будет одно и то же, – рассудила Дора, когда обе девушки уже лежали в постели и она в очередной раз внимала рассказу Эммы. – Ты, девочка, слишком хороша. – Она прищелкнула языком. – Иногда по ночам и у меня нет-нет да и возникнет искушение...

– Перестань! – вскричала Эмма, шутливо отталкивая ее.

Они лежали лицом к лицу, деля подушку, дыхание, запахи, кроличьи волоски. От души смеялись.

– Нет, – продолжала Дора, когда смех затих, – я серьезно...

– Насчет искушения? – спросила Эмма.

– Нет, подруга, нет. Насчет твоих проблем. Если у тебя есть парень, который встречает тебя после работы, болтается около, куря сигарету, а когда ты выходишь, целует тебя и берет под руку, заявляя свои права, и это видят все, кто с тобой работает, и кто сидит в таверне на углу, и даже болван из магазина, где продают иголки, который день-деньской пялится через витрину, – тогда тебя уважают, зная, что, если переступят черту, будут иметь дело с ним. А ты... – Дора пристально взгляделась в нее. – Ты – красотка, и тебя никто не защищает. Рано или поздно всем становится известно, что у тебя нет семьи, что ты снимаешь комнату пополам с другой девицей и у тебя нету парня. И никому дела нет до тебя и до того, что с тобой приключится.

Насчет последнего Дора ошибалась, хотя Эмме это было невдомек. Маравильяс и Дельфин следили за ней время от времени. Прошли за ней до приюта у Парка. «Почем тебе знать, что она едет туда?» – спросил *trinxeraire*. «Женщина уходит из дома с узелком, садится на Карету Бедняков, идти ей некуда: едет она в приют у Парка, спорим на что хочешь». – «А если есть куда?» – «Тогда нам будет труднее ее найти», – оборвала брата Маравильяс. Дети пересекли старый город пешком. Убедившись, что ее догадка верна, Маравильяс улыбнулась брату. Они наблюдали также, как Эмма заселялась в дом вдовы. Как напрасно обивала пороги в поисках работы. Видели, как она выбегает из магазина тюфяков в разодранной блузке. «Этот тюфячник всегда был сволочью», – прокомментировала Маравильяс.

– И что, по-твоему, мне делать? – спросила Эмма подругу. – Одеться почуднее? Закрывать лицо?

– Как монашка? Нет, это не пойдет. Практичнее, да и веселее, подыскать жениха.

Тут же, словно при вспышке молнии, Эмме на ум пришел Далмау. Она не переставала думать о нем, хотя и с противоречивыми чувствами. Иногда накатывала ностальгия по счастливым дням, и любовь, которая, казалось, осталась позади, скреблась где-то в глубине и изливалась тихими слезами. Однако большей частью она вспоминала Далмау с презрением и гневом: рисунки, выставившие напоказ ее наготу, а главное, что бесило ее до дрожи, – как он с ними поступил; да и коллизия с Монсеррат... Верно и то, что он не настаивал на примирении, как должно, да и делал это лишь на первых порах, когда от обиды и ярости Эмма даже не могла на него смотреть. А потом пропал. Больше не просил прощения за то, что ударил ее, не желал ничего слышать о своей ответственности за смерть Монсеррат. И ей не удалось потребовать у него объяснений по поводу рисунков. Далмау устранился, и это ее удручало больше всего. Раз он не нашел ее вовремя, теперь, когда она затеряна в таком большом городе, как Барселона, это почти невозможно.

Теперь он, наверно, и не ищет ее, отрешенно думала Эмма. Далмау ушел в работу. «Из моих троих детей, – призналась однажды Хосефа, – старший и младшая характером пошли в отца, оба неустрашимые бойцы; Далмау не такой, он артист, добрая душа и большое сердце, но не от мира сего».

Эмма больше не навещала Хосефу и страдала от этого. Когда-нибудь заглянет повидаться с ней; но о Далмау его бывшая невеста и так кое-что знала. Об успехе выставки его рисунков *trinxeraires* услышала в таверне, куда временами ходила завтракать вместе с Дорой перед тем,

как обе отправлялись на работу. В кафе и в тавернах кто-нибудь нередко читал газету вслух, чтобы неграмотные, коих было большинство, тоже находились в курсе событий. Тот добровольный чтец однажды наткнулся на заметку о том, что в Обществе художников Святого Луки открыта выставка рисунков молодого многообещающего художника из Барселоны по имени Далмау Сала, который «живописует душу своих моделей», с пафосом прочел грамотей.

«Грустные получают души», – посетовала Эмма и подняла чашку с кофе, будто чокаясь с солнцем.

Жениха она не нашла, даже не искала, да и не собиралась, хотя речи Доры не давали ей покоя. Зато обрела старого Матиаса, время от времени поставлявшего цыплят и кур в «Ка Бертран»; он появился, как всегда, нагруженный корзинкой с птицами. Было это на слиянии улицы Арагон с Пасео-де-Грасия, где недавно на мадридской ветке построили железнодорожную станцию. Здание в стиле модерн, казалось, поглощали стоящие рядом дома, куда более высокие, так что народ, ничтоже сумняшеся, сравнивал его с общественным писсуаром. Матиас болтал с возницей одного из экипажей, которые выстроились рядом в ожидании пассажиров, сходящих с поезда; Эмма же пыталась именно здесь пересечь улицу Арагон: по железнодорожным путям пройти было труднее, чем по улице, тянущейся поперек откоса наподобие моста.

Девушка пыталась избежать встречи со стариком. Матиасу ни разу не удалось продать ни курицы, ни цыпленка в столовую Бертрана. Как только он появлялся со своей корзиной, Бертран звал Эмму, та рассматривала птиц, обнюхивала их и отвергала. В конце концов старик обратил все в шутку и, когда появлялся в столовой, направлялся прямо к Эмме, бегал за ней по кухне и заднему двору, пытаясь убедить, что его товар первосортный. «Эти хорошие, клянусь». Бертран не вмешивался, только посмеивался над стараниями Матиаса и непреклонностью Эммы. «Только что из Галисии, да ты хоть взгляни на них». Порой Эмма поддавалась на обман, подходила понюхать, морщила нос, строила кислую мину и клялась себе страшной клятвой никогда больше не верить старику. «Какая нежная сеньорита Эмма!» – с укором произносил Матиас, прекратив беготню и распивая вино с Бертраном.

Завидев вокзал, Эмма ускорила шаг; может быть, именно это, легкая походка статной женщины, заставило возниц обратить к ней взоры, будто бы жаркий, застоявшийся, тяжелый воздух конца лета вдруг пришел в движение.

– Сеньорита Эмма! – раздался голос старика. Эмма не знала, что делать: Матиас был знаком с Бертраном, наверняка заходил в столовую, слышал о том, что случилось, даже, возможно, видел рисунок. – Сеньорита Эмма! – окликнул он еще громче.

Люди стали оглядываться. «Кажется, вас зовут», – какая-то женщина пальцем показала назад, за спину Эммы, которая в итоге остановилась и обернулась к Матиасу.

– Чего тебе? – нехотя пробурчала она.

Старик не ответил, пока не оказался рядом.

– Хотел поздравить тебя, девочка, с тем, что ты ушла от хиляка Бертрана. – Взглянув на лицо Эммы, старик расплылся в улыбке, показав редкие черные зубы, и пустился в объяснения. – Ты никогда не сдавалась. В других местах я обычно уговаривал людей. Сунешь в руку тому, этому – и они, поди, не станут приглядываться. Ты никогда ничего у меня не просила.

– Куры у тебя неважные, – признала Эмма.

– Но и не такие плохие. – Матиас замахал на Эмму руками, будто защищаясь. – Никто не умер, даже не заболел от моих кур и цыплят. Если хорошо приготовить, никто не жалуется. Думаешь, если бы что-то такое случилось, я бы все еще торговал ими на улицах? Люди знают, что куры не первой свежести, потому и дешевые. Кто бы стал продавать хорошую курицу за полцены?

Эмма не могла не согласиться. Покинув столовую и дом дяди Себастьяна, она поневоле стала питаться продуктами, которыми раньше побрезговала бы. «Хочешь вкусненького – иди

в „Континенталь“, в „Мезон Доре“ или в другой какой шикарный ресторан. Чего ты от меня требуешь за шесть сентимо?» – распекал ее хозяин постоянного двора, когда она пожаловалась на то, что зелень вялая. Ее так и подмывало сказать, что есть столовые, где за качеством продуктов следят, но ведь она не могла с уверенностью утверждать это относительно «Ка Бертран». Да, она ходила с хозяином за покупками, но скорее затем, чтобы ему не продали скверный товар по высокой цене. В большинстве случаев Эмма не знала, откуда взялись продукты, которые варились или жарились на кухне Эстер.

– И когда ты не смотрела, – вывел ее из задумчивости старый Матиас, – Бертран покупал у меня курочку-другую. – Эмма так широко раскрыла глаза, что веки слились с бровями. Матиас вновь улыбнулся, выставив напоказ с полдюжины кривых, почерневших зубов. – Честное слово!

– Нет! – не верила Эмма.

– Да! – утверждал старик.

– Вот ведь сукин сын этот Бертран. Значит... все было для отвода глаз? Ты бегал за мной по кухне и по двору, я отмахивалась... а после этот козел покупал у тебя кур?

– Нет, – возразил Матиас. – Я бы даром отдал моих кур твоему хозяину, только чтобы побегать за тобой, как в прежние времена. – (Эмма снова впала в изумление.) – Девочка, много ли красоток, таких, как ты, позволят противному, беззубому старику подойти к себе ближе чем на три шага?

Эмма покачала головой.

– Хочешь за мной приударить?

– Нет, нет, нет, – возмутился Матиас. – Как можно приударять за богиней? Дышать одним воздухом с тобой для меня достаточно.

Эмма слегка склонила голову набок и улыбнулась.

– Пошловатого, но красиво, – признала она.

– Богиням по нраву кофе? – осведомился Матиас. Эмма сделала гримаску. – Оршад? – На этот раз Эмма громко фыркнула. – Может, мороженое?

Ладно, подумала Эмма. Мороженое подойдет.

Идея была безумная, но Матиас ее убедил. Так ей ни к чему жених, который встречал бы ее с работы, и не нужно постоянно быть начеку, опасаясь, что какой-нибудь негодяй ее изнасилует. С другой стороны, с тех пор как Эмма сбежала из магазина тюфяков, она так и не смогла найти работу.

– Но ты не будешь хватать меня за задницу? – спросила она Матиаса, взвесив его предложение. Иссохшее лицо старикана заметно помрачнело. – Даже не вздумай! – воскликнула Эмма. Матиас развел руками с таким простодушием, будто Эмма проникла в его тайные помыслы. – Пошел ты к черту!

– Клянусь, я тебя и пальцем не трону! – обещал старик, даже не дав Эмме повернуться.

Она оглядела торговца с ног до головы: настоящий мешок костей.

– Я тоже клянусь: не сдержишь слова – яйца тебе оторву, и...

– Думаю, – прервал ее Матиас с наигранным страхом, сгорбившись и выставив руки перед собой, – этого достаточно, чтобы выбросить из головы всякие дурные помыслы.

– Помыслы! Да, уж их, пожалуйста, изгони тоже! Потому что, если я увижу, как ты пускаешь слюни, глядя на меня, я оторву тебе...

– Знаю, знаю, – заторопился он. – Даже глядеть не буду!

Так они пришли к соглашению. Матиас обязался платить ей третью часть дохода, какой они получают с каждой проданной курицы или цыпленка.

– Мы будем ходить по отдельности? – поинтересовалась она.

– Думаешь, я тебя нанял за красивые глаза? – насмешливо осведомился старик. – Эта корзина уже давно для меня тяжеловата. – Он взвесил корзину на руке и протянул Эмме. – Ходить будем вместе, ты с корзиной, с улыбочкой и вот с этим... – Он изобразил округлости Эмминого тела, но, когда та вздернула подбородок и смерила его взглядом, тотчас осекся. – Ну а я привнесу свой опыт.

Они без труда толкнули четырех кур, которые были в корзине. Две галисийские, из тех, что именовались «постными», хотя в Барселону они прибыли жирными, сетовал Матиас; одна русская, тоже тощая, и последняя – из Картахены. Трех они продали кухаркам из богатых домов, перехватив их по дороге на рынок; они тоже получали свою выгоду, разницу между реальной ценой за птицу и той, которую назначал Матиас в зависимости от покупателя, как правило, примерно половину стоимости. К тому же Матиас, ничуть не стесняясь, выписывал квитанцию, исходя из рыночной цены. «За русскую куру из постных, – писал он дрожащей рукой на клочке оберточной бумаги, – три песеты. М. Польеро». Ставил закорючку и получал две песеты, какие просил за курицу в этот раз.

Последнюю курицу, вторую из постных галисийских, которые некогда были жирными, они всучили непосредственно хозяйке, хорошо одетой даме, выступающей в сопровождении служанки, которая улыбалась Матиасу, пока Эмма нахваливала птицу. Наконец убедила покупательницу, продемонстрировав живые глаза и чистые перья куры. «Две песеты», – хотела назначить она, но Матиас, стоявший позади, ее поправил:

– Две с половиной! И вы выгадываете полторы, сеньора.

После этой продажи утро подошло к концу. Матиас пригласил Эмму пообедать, но она отказалась, сославшись на то, что это не входит в ее обязанности. Матиас согласился, но пытался ее вразумить, напомнив, что ей нужно еще многому научиться. Тут пришлось согласиться Эмме. У нее возникло много вопросов. Хорошо, она с ним пообедает, но только в столовой, ни в коем случае не у него дома. Ему это и в голову не приходило, заверил старик. Они пешком направились к Парку, рядом с которым располагался уют, где Эмма провела свою первую ночь вне дома дяди Себастьяна.

На юге, за кольцом, образованным железнодорожными и трамвайными путями, Парк граничил с зоной чудовищно хаотической застройки, которая выходила к морю. Там располагались, без какого-либо видимого порядка или разумного плана, вокзал, именуемый Французским, поскольку поезда оттуда отправлялись в эту страну; арена для боя быков Барселонеты; бедный квартал, поделенный на квадраты улицами, стремящимися к морю; порт и постройки, с ним связанные: пакгауз, таможня, Пла-де-Палау, торговая биржа, молы и склады для товаров, два газоперерабатывающих завода, кладбище...

Они обедали в большой столовой, из тех, что назывались «круглыми столами»; столы там были огромные, не обязательно круглые; люди приходили и садились за них, если было свободное место. Меню одно для всех, дешевое блюдо дня за шесть сентимо; заплатив их, каждый мог разделить с другими липкую грязь, покрывающую столы и пол, жир, который, казалось, висел в воздухе, и запахи, которые Эмма была не в состоянии распознать.

Старик и его новая работница нашли себе место, сопровождаемые наглыми взглядами, шепотками, даже свистками и бесстыдными предложениями: их окружали матросы, докеры, железнодорожники и всякий подсобный персонал, народ в большинстве своем грубый. Матиас поднял руку и с победоносным видом поприветствовал всех. Возмущенный ропот Эммы заглушили аплодисменты и здравицы, а потом каждый занялся своим делом, то есть продолжил поглощать пищу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.